

Воспоминания о митрополите Антонии (Храповицком) и епископе Гаврииле (Чепуре)

архимандрит Киприан (Керн)

Среди русских иерархов, несших в XX веке крест изгнания и в настоящее время почти забытых, особое место занимает архиепископ Гавриил (Чепур) – замечательный проповедник, гимнограф, блестящий знаток устава. Его жизни и деятельности посвящен предлагаемый вниманию читателя труд о. Киприана Керна. Вместе с тем, данные воспоминания представляют собой самый замечательный портрет митрополита Антония (Храповицкого). В этих мемуарах, как в зеркале, предстает внутренний мир самого о. Киприана, где Русская Культура в самом высоком ее проявлении находит свое выражение в церковности.

Часть I. Митрополит Антоний (Храповицкий)

Маленький старинный городок в Бретани. Древний замок XII в., кривые улицы, дома с высокими грифельными крышами. Колокольный звон с утра до вечера; на улицах монашки и кюре. Серенький осенний денек. И мне, приехавшему отдохнуть в это захолустье, стало нестерпимо тоскливо от многих обстоятельств и переживаний. Вспомнив пожелание моих друзей, чтобы я написал свои воспоминания, я и взялся за перо. Может быть, это и предупреждение приближающейся старости, а может быть, и непривычка сидеть без определенных занятий. К тому же я давно пришел к убеждению, что единственная реальность – это прошлое. Настоящего, в сущности, нет; это только грань между прошлым и будущим, точка времени без измерения, почти фикция. А будущего может еще и не быть, а если и будет, то вероятно плохим, во всяком случае хуже, чем доброе прошлое, к которому постоянно влечет память. Этому учит весь опыт жизни. Поэтому только мне и приятно, что в прошлом, в истории...

Ну, словом, я напрягаю свою память и решаюсь на старицковское дело писания мемуаров. Думаю, что хронологически последовательных воспоминаний мне не написать, тем более что детство и юность все еще – да, вероятно, и навсегда – покрыты слишком болезненными воспоминаниями тех «окаянных дней», которые отделяют от них мою жизнь здесь, в изгнании, то есть на свободе. Потому-то я и решаюсь скорее на запись о лицах, встречах и событиях так, как они вспомнились, а не пишу «Книгу бытия моего».

Господи, благослови! Начинаю, а там, что Бог даст.

Vitre, 1947.

Первое воспоминание мое о митрополите Антонии, имевшем такое большое значение в моей жизни и так сильно повлиявшем на мое развитие, связано с моими отроческими годами. Моя мать, исключительно набожная и верующая женщина, в годы моей ранней юности постоянно проводила

время, свободное от ее семейных обязанностей, в чтении духовных книг, посещении церквей, религиознонравственных собраний. Она много встречалась с духовными лицами и церковными деятелями. Летом она из имения нашего ездила то в Оптину, то в Саров, то в Тихонову пустынь (Калужской губернии) или к Тихону Задонскому и Митрофанию Воронежскому. В Петербурге она также любила ходить и брать меня с собой на богослужение: в Казанский собор, в часовню Спасителя в домике Петра Великого, к Скорбящей на Стеклянном заводе и в иные церкви и монастыри.

Однажды матушка взяла меня с собой на Почаевское подворье, куда привезли с Волыни чудотворную икону Богоматери. Из всего этого нашего «паломничества» помню только переполненный народом храм, толпящихся у иконы богослужителей и благословляющего народ архиерея. Он был с сильно русой, почти рыжей бородой. Это и был привезший с Волыни икону архиепископ Антоний. Больше ничего не помню из этого нашего богослужения. Конечно, я и думать тогда не мог, что этот архиерей возложит трижды на мою голову свои святительские руки.

Мать купила тогда там маленькую икону Почаевской Божией Матери и меня ею благословила. Эту икону я имел при себе, когда бежал из Москвы. Ее, при крушении поезда в Добровольческой Армии, у меня украли пленные красноармейцы. Но этим не порвалась моя связь с Волынским архиереем.

Первая настоящая встреча с митрополитом Антонием имела место в Москве в 1918 г. во время Всероссийского собора. После того как по распоряжению Керенского Императорский Александровский лицей был закрыт, как «инкубатор для будущих превосходительств», как писала революционная пресса, я перевелся в Московский университет. Студентом юристом я уже сильно интересовался церковными делами, читал богословские книги, бывал на служениях патриарха Тихона. Думал даже о поступлении в Московскую Духовную Академию. Я очень интересовался ходом дел на Соборе. У одного из студентов юристов, беженца из Гродно,

священника о. Михаила (фамилию запамятовал), была возможность получать пропуски на заседания Собора. Как-то зимой 1917/18 гг. несколько студентов юристов воспользовались любезностью этого священника и отправились на заседание Собора.

Он происходил в Епархиальном доме в Лиховом переулке. Не описываю самого заседания: все это уже достаточно известно. Фактически вел все митрополит Новгородский Арсений (Стадницкий) с резким взглядом пронзительных глаз. Патриарх Тихон только скорее «почетно» председательствовал. Помню образы отдельных архиереев: митрополита Кирилла (Смирнова), будущего исповедника за независимость церкви от коммунистического порабощения, митрополита Серафима (Чичагова), митрополита Сергия (Страгородского), впоследствии печальной памяти живоцерковника и потом местоблюстителя патриаршего престола,¹

архиепископа Анастасия (Грибановского), выделявшегося своей большой стильностью. Помню видных батюшек: протопресвитера Любимова, о. Хотовицкого, архимандрита (впоследствии архиепископа – исповедника) Иллариона, тогда инспектора Московской Духовной Академии, бывшего на Соборе. Вспоминаю и светских деятелей: известного славянофила Аф. Вас. Васильева, профессоров кн. Е.Н. Трубецкого, Кузнецова. Почти не могу вспомнить Сергея Николаевича Булгакова, хотя знаю, что мне его показали.

Это первое заседание, на котором я в качестве гостя присутствовал, касалось острого вопроса о «дележе братской кружки». Были резкие выступления с мест отдельных низших членов клира, были неосторожные слова.

Когда мы уходили после заседания домой, я долго не мог найти в раздевальной мою меховую шапку. Спутники мои меня торопили. Швейцаров осаждали люди с требованиями одежды. Я ждал свою шапку и на повторные зовы моих друзей я нетерпеливо отозвался: «да вот свой шапо ищу, подождите». В это время на мое плечо легла чья-то рука. Я не обратил внимания, но когда обернулся, то перед собой вдруг увидел

широкую седеющую бороду, белый митрополичий клубок и незабываемую улыбку умных, проницательных глаз.

«Вы кто? Гимназистик или офицер?»

«Я? Что?.. Я? Я, нет, я студент».

Митрополит уже был в толпе уходящего народа, а мои спутники меня толкали:

«Да вы что благословения не взяли. Эх вы!..»

Когда на другой день, после лекции проф. Новгородцева, я встретил о. Михаила и поблагодарил его еще раз за билет на Собор, мои однокурсники ему рассказали про вчерашний случай с митрополитом. По нашим описаниям батюшка опознал владыку и заметил:

«Ну, знаете ли, это неспроста. Ведь это – Антоний Храповицкий, великий уловитель душ в монашество. Быть вам, коллега, монахом. Это неспроста».

«Кто? Я – монахом? Ну, тоже, батюшка, скажете...»

Все мы рассмеялись.

Еще несколько раз издали видел я на Соборе и во время торжественных служб в московских церквях этого архиерея в белом клубке и с пронзительным взглядом умных глаз.

Прошло два года.

Я в Екатеринодаре. Иду в английской шинели и бескозырке ординаторского эскадрона по Красной улице. Был воскресный день. В соборе кончалась обедня, народ выходил из храма. Я зашел в церковь. На амвоне стоял в мантии и белом клубке какой-то архиерей и благословлял последних молящихся. Я, как простой солдат, подошел, помню, последним и принял благословение владыки. Ласковый голос обратился ко мне с вопросом:

«Вы что? Гимназистик или офицер?»

Меня пронзил совершенно тот же вопрос, что и на Московском Соборе. Я узнал митрополита Антония.

«Никак нет, владыко. Я вольноопределяющийся».

«А, ну-ну. Значит, солдатик».

Миновало еще года два.

Белград. Русская церковь в зале сербской гимназии. Всенощная отходила. Я, студент белградского юридического

факультета, стою у свечного ящика. Староста, милейший Евг. Мих. Киселеский, наклоняясь ко мне, просит пойти за извозчиком, чтобы отвезти митрополита Антония, стоявшего в алтаре, но, помню, не служившего.

Когда я, провожая с Евгением Михайловичем митрополита, принимал его благословение у кареты, он посмотрел на меня со своей улыбкой и ласково спросил:

«Вы офицер или гимназист?»

Я был в гимнастерке со споротыми погонами и по моему виду нельзя было судить о моем общественном положении, но тем не менее меня поразил все тот же вопрос. Потом я узнал, что митрополит вовсе не ко всем молодым людям обращался с таким вопросом.

Настоятель церкви о. П. Беловидов сказал владыке, что я помогаю ему по церкви.

«А, ну-ну, спасайся, мой милый».

О. Петр заметил мне:

«Быть вам монахом. Антоний, знаете ли, любит молодежь уловлять в монашество».

Я засмеялся, настолько мне показалось это маловероятным, но не мог не призадуматься над троекратным ко мне обращением владыки все в той же форме.

Приблизительно в то же время, т.е. когда беженская волна начала оседать в Белграде и других городах Сербии, митрополит Антоний переехал на более или менее постоянное жительство в Белграде, где пок. Патриарх Сербский Димитрий предоставил ему помещение в одной из комнат старой Патриархии. Ее собственно тогда звали по старой памяти Митрополией. Это было зданием времен еще Милоша Великого, покосившееся, малоуютное и очень казенного вида. Во дворе этого дома находился еще и маленький домишко, вроде старого флигелька, но, кажется, в наше время уже не существовавший, с которым связывались мрачные воспоминания из сербской истории. В этом домишке одно время находилось тело убитого по повелению Милоша Великого героя и вождя первого восстания, знаменитого Карагеоргия, основателя династии

Карагеоргииевичей. Предание говорит, что туда в мешке был привезен труп и отдельно голова Черного Георгия.

В этой Митрополии (разрушенной при постройке новой Патриархии в 1931 г.), в левом нижнем коридоре, в последней от входа комнате, и останавливался и жил долгое время митрополит Антоний со своим знаменитым келейником Федей, тогда еще иеродиаконом Феодосием, а потом и иеромонахом и архимандритом. В этой комнате и стал я бывать у владыки, с ним ближе познакомился, а потом стал и постоянным посетителем.

Но до этих постоянных моих визитов к митрополиту я был у него однажды на исповеди. Это вышло довольно неожиданно. Меня привел к владыке один мой коллега по юридическому факультету, которого митрополит знал еще ребенком в России. Эта исповедь была для меня очень знаменательна и памятна. В крестовой церкви Патриархии, на клиросе, в полумраке позднего вечера стоял я перед митрополитом и почувствовал тогда всю замечательную пастырскую мудрость и большой духовнический опыт владыки. То, что впоследствии я книжно узнал из разных руководств по пастырскому богословию и аскетике, да и из сочинений самого митрополита об исповеди, я тогда на деле ощущал в моей исповеди у него. Владыка умел и на деле показать и дать почувствовать всю силу и глубину его пастырской сострадательной любви, о которой он так замечательно писал и проповедовал. Чувствовалось совместное переживание греха не только грешника, но и самого духовника, вся боль стыда о содеянном, все раскаяние, вся непоправимость прошедшего. Без морализирования, без нотаций, без брезгливого отношения к грешнику, а с чувством глубокого сострадания, с желанием помочь и с умением дать надежду на выздоровление исповедовал митрополит Антоний. Грех для него был не юридическое правонарушение, не факт, не только греховное дело, но, главным образом, болезненное состояние души, тяжелое нравственное потрясение, от которого надо спасти и в котором надо помочь. Как сейчас вижу рядом с собой в слабом отлеске лампады широкую бороду владыки, в которой так и играла и перебегала милая, ласковая улыбка. Так

и вижу блеск острых и умных глаз под огромным широким и высоким лбом. Кроме всего прочего, замечательное, породистое, старобоярское лицо. Наследие многих веков.

На той исповеди, насколько помню, я не говорил о моем желании быть богословом. Мне надо было кончить юридический факультет, оставалось экзаменов 13–15. Не хотелось бросать раз начатого дела. Но, и будучи еще юристом, я принимал все больше и больше участия в обслуживании русской церкви. Сначала в зале гимназии на Негошевой улице, потом в сарае на старом кладбище, на каковом месте потом и была выстроена русская церковь, я помогал старосте Е. М. Киселескому в устройстве переносного иконостаса, в хранении и поддержании сначала весьма скромной, а потом и более богатой ризницы, в пономарстве, в чтении. Владыка все чаще и чаще приходил в нашу церковь, иногда просто стоял в алтаре, а иногда и служил. Диаконствовал у него все тот же его келейник, памятный всем беженцам в Белграде иеродиакон Феодосий, некогда послушник Киево-Печерской лавры, старший фейерверкер артиллерии, хохол, с тенорком и совершенно невероятной жесткой, черной гривой и бородой. Казалось, что отовсюду росли волосы, разве только из зрачков у него не росла борода. Был он и великий весельчак, выдумщик, хохотун и прекрасный, преданный келейник. О нем еще не раз будет речь впереди.

На извозчике заезжал я в назначенный час в патриархию, и вместе с митрополитом и Федей отправлялись мы в русскую церковь. И по дороге митрополит что-нибудь рассказывал или отпускал острые и меткие замечания. Потом, изучая историю русской духовной школы и слыша от современников воспоминания о митрополите Антонии, я узнал о той исключительной моци очарования, которой он обладал и которой он покорял себе без всякого усилия сердца молодых студентов Академии или семинаристов. На эту тему почти нет разногласий; это влияние владыки признают, кажется, все – и друзья его и недоброжелатели. Но тогда, совсем молодым и легко воспламеняющимся студентом, падким на всякое влияние, я, конечно, не понимал, а главное не анализировал этого его всепокоряющего очарования, я просто ему поддался;

поддался нацело и без остатка. Очень быстро Антоний стал моим авторитетом, почти кумиром. Я им увлекся, в него влюбился, был им покорен. Я думаю, это же пережили в свое время все те поколения семинаристов и студентов, которые имели радость учиться под началом митрополита, которые им были спасены от угаря революции, от пресноты безверия, от бесплодности рационализма; были – немало среди них – привлечены, чтобы не сказать увлечены, в монашество и потом составили целое поколение русского ученого иночества и епископата. Я не миновал общей участи тех молодых богословов, которые встречались и беседовали с Антонием. В чем секрет этого очарования, скажу потом. Попытаюсь, во всяком случае, разгадать, в чем был этот секрет для меня лично, т.е. что дал митрополит Антоний лично для меня. Но «о том – потом», после того, как я скажу о нем побольше, вспомню факты, встречи, слова и долгие с ним беседы.

Итак, стало быть, я всецело увлекся этим замечательным и по внешности, а главное по духу, архиереем. В самом деле, внешность. Среднего роста, в те годы уже несколько грузный. Большая, очень большая голова; кажется, 64 или 65 сантиметров; умные, острые, иногда, в минуты раздражения, неприятные глаза. Окладистая, почти уже седая борода; казалось, что где-то в ней играет улыбка. Ни бороду, ни волосы никогда не стриг и с презрением относился к тем священникам или архиереям, которые укорачивали свою растительность. Руки породистые и не пухлые, как у многих ожиревших архиереев. От всей головы оставалось сильное впечатление. Это было характерное, выразительное лицо. В глазах, прежде всего, горел ум, и вот это – то неопределимое «антониевское» очарование. Как-то в Париже один француз, любитель искусства, увидел у меня фотографию митрополита Антония, без клобука за письменным столом, и совершенно восторженно воскликнул: «*Qelle euperbe tête!*»²

Ряса на нем сидела совершенно естественно. Он носил рясы русского покроя, но, съездив в Палестину, оттуда привез греческую, которую он гораздо больше любил и ценил, чем русскую. (О филэллинстве митрополита скажу потом.) На рясе

чаще всего носил круглую панагию с изображением Богоматери и с уральскими камнями, подарок его друга митрополита Сергия (Страгородского) с надписью на обороте: «Дорогому учителю и другу». Мф. XXV, 8, т.е. слова юродивых дев мудрым: «Дайте нам от елея вашего; светильники наши угасают».

Иногда он носил другую панагию, благословение ему епископа Михаила (Грибановского) на его смертном одре. Это была икона Спасителя, очень неиконописного стиля, со многими камешками вокруг и с надписью на обороте: «Сию панагию имели митр. Палладий, митр. Антоний (Владковский), еп. Михаил, еп. Антоний (Храповицкий)». В торжественных случаях и во время богослужений митрополит возлагал на себя и голубой эмалевый докторский крест.

Но чаще как-то и привычнее вспомнить мне владыку в подряснике, подпоясанного неизменным ременным поясом (вышитых распоясов он терпеть не мог). В петлице укреплена золотая цепочка от часов, которые он носил в боковом кармане, а ручных браслетов-часов не носил. Таков митрополит за письменным столом, разбирая утреннюю почту, отвечающий на письмо или читающий какую-нибудь книгу. Таков же и за чайным столом. Почти никогда его не помню одного. Обыкновенно кроме него и Феди сидят и студенты богословского факультета, или приезжие священники, реже просители; почти никогда не были за его чайным столом дамы. Женский пол владыка не жаловал, отзывался о нем почти всегда недоброжелательно, иногда даже и резко.

Вокруг самовара за столом владыки так и вижу группу молодых студентов, с увлечением с ним беседующих, внимательно слушающих, задающих вопросы на темы богословские, церковные, аскетико-пастырские. Рассказы митрополита о прошлом, главным образом об Академиях, профессорах или духовных лицах, всегда были интересны, красочны; характеристики метки, иногда резки, особенно если данное лицо не пользовалось расположением святителя. Богословские и канонические разъяснения были очень просты, авторитетны и обнаруживали большую ясность ума. С ними можно было не соглашаться (что потом я очень осознал, когда

более критически сам изучил многое), но они всегда были необычайно ясны и прямы. Никаких «постольку – поскольку», «как бы», «как-то» и т.д. у него не было. Он не задумывался долго, объясняя что-нибудь. Но особенно ясен он был в объяснении Св. Писания. Порою слишком ясен, слишком даже примитивен, но чувствовалось, что он это для себя знает и в этом уверен. Чувства проблематики у него не было. Но больше всего поражал он знанием текста, как Нового, так и Ветхого Завета. Казалось мне, и теперь еще кажется, что ему не были нужны симфонии и конкордансы Священного Писания. Самые малоизвестные тексты он без труда находил, а зачастую и просто, не глядя в Библию, называл главу и стих пророчества, псалма или послания. Начитанность в Писании (равно как в канонах и церковном уставе) была у него поражающая. Но потом-то я прекрасно понял, что «учености», знания библиографии вопроса у него не было. Он, отойдя от Академии, быстро отстал и от науки. Это между прочим говорил про него и замученный в ссылке архимандрит Иларион (Троицкий),³ профессор Нового Завета в Московской Духовной Академии.

Впоследствии я много слышал от бывших учеников, постриженников и сотрудников митрополита о знаменитых сборищах всей академической молодежи в ректорских покоях Московской и Казанской академий, приглашенной им «хлебать варенье», присланное заботливой его матерью из новгородской вотчины Ватагино, или о не менее знаменитых «чаях в подрясниках» на Волыни, в Почаеве, когда на летние каникулы съезжались к архиепископу Антонию студенты (между ними и немало разных пострадавших, уволенных из академий или семинарий), молодые монахи, да и старые епископы, съезжались к своему Великому Авве пожить, посоветоваться, побеседовать, погреться у этого великого любвеобильного сердца, озариться лучами его острого ума. Тут-то, на этих чаепитиях, укреплялась вера одних, зрело желание монашеского подвига других, решались недоуменные вопросы духовной жизни, зарождались темы магистерских диссертаций. И я, отлично это помню, считал себя тогда, и продолжаю считать себя счастливым и по сей день, что и я был участником

этих «чаепитий», правда не в Казани, не в Троицкой Лавре и не на Волыни, а только в скучной беженской обстановке нищего митрополита, но зато для меня таких богатых по своему содержанию. Многое потом в моей жизни изменилось: повзрослев, я многое из слышанного от Антония передумал, пересмотрел, критически оценил и переоценил, но самого духа этих бесед мне никогда не забыть. Самый «даймон»⁴ этих духовных «симпозионов» навсегда закрепил в моем сердце благодарную память о «Великом Авве». Да! И он во многом ошибался. Но кто же не ошибался?.. Всякому приходящему студенту уделялось столько внимания от этого старца, сколько другой ахиерей или профессор не уделил бы и чиновному, высокопоставленному и знаменитому человеку. Митрополит сразу же заинтересовывался всяким студентом. Он искренне любил молодежь, верил в нее и верил ей. Искреннему молодому сердцу прощались его заблуждения беспутной юности. Молодой, робеющий студент как-то незаметно становился на близкую к митрополиту линию, не побоюсь сказать, духовной дружбы. Может быть, даже иногда и не всегда для данного молодого человека и полезную линию.

Все сразу же назывались по уменьшительным именам: Сережа, Миша, Ваня. Никаких имен-отчеств, никакой официальности. Иногда давалось и прозвище. Так очень быстро владыка стал меня называть «Кернушка», что в известном кругу сохранилось надолго.

У Владыки всегда толкался народ. Он сам любил говорить, что его келия – караван-сарай. Это было очень уютно, но, конечно, не создавало серьезной обстановки ученого ректора, или, тем менее, западного чиновного прелата. Времени у него было мало; оно уходило по мелочам. Кто был в этом виноват? Конечно, сам же Антоний с его отвращением к формализму, законничеству и официальности. Он же, конечно, был виной и того легкого отношения к священному сану, к авторитету, к иерархической подчиненности. Он сам незаметно портил своей неофициальностью своих молодых друзей. У людей маловоспитанных это создавало потом некое «амикошонство».

У чайного стола несколько молодых студентов, зашедший по делам настоятель русской церкви или какой-нибудь приезжий с сербского прихода батюшка.

«Федя, есть там какое-нибудь варенье?»

«Сережа, почему ты такой задумчивый? Может быть, ты влюбился?»

Яркая краска заливает лицо бедного Сережи:

«Нет... Ну что вы, владыко... Я нет, вообще, нет».

«Ну, выскажи какую-нибудь блестящую идею».

«У меня нет никакой блестящей идеи, владыко...»

«Нет идеи? Ну, это печально».

«А почему у тебя грязные руки и нечесаные волосы, отец С.? Ты, может быть, хочешь быть таким образом более аскетически настроенным? Ты, вероятно, хочешь спастись во что бы то ни стало..?»

Общий смех.

«Скажи, Миша, что вам читают по Новому Завету? Вероятно, какую-нибудь тюбингенскую ерунду или залежавшиеся теории о неподлинности того или иного послания? А какая главная мысль Четвертого Евангелия?»

И начинается интересная беседа о евангельском тексте, о несостоятельности какой-нибудь протестантской гипотезы. По дороге попадает Сергею Николаевичу Трубецкому за его «Учение о Логосе». Все это впитывается молодыми умами. Мы дивимся мудрости и ясности (теперь вижу, слишком уже большой ясности) митрополита в понимании евангельского текста. Тогда это казалось вершиной богословской премудрости. И слава Богу за эти первые уроки богословского наставления.

Очень часто он говорил о русской литературе, которую знал хорошо, особенно, как известно, он высоко ставил Достоевского. Его лично он видел только один раз в жизни, почему неоднократно опровергал откуда-то появившееся мнение о том, что он, Антоний, послужил Достоевскому прототипом для Алеши Карамазова.

Декламировал, и именно по-старинному, с декламацией. Сам помню, как он однажды очень хорошо при мне (мы были одни) прочел «Я вас любил, любовь еще быть может...».

Толстого, конечно, отрицал, как публициста, резонера и философа. Ценил его художественный талант, но не прощал ему всего позднейшего его писания. Антоний был так целен и монолитен, что он целиком – или преклонялся, или отмечал. Главное, конечно, для него был Достоевский. Помню даже такое замечание:

«Прежде всего Библия, потом церковный устав, а на третьем месте Достоевский».

Я тогда был уже посмелее и, помню, спросил:

«Ну а где же, владыко, святые отцы?»

Митрополит умно посмотрел и по-своему, незабываемо улыбнулся.

Я ходил тогда в каком-то фантастическом наряде. Европейского штатского платья я никогда не любил, да и не по беженскому карману был себе его шить. Носил я длинную косоворотку, высокие сапоги (всегда хорошо сшитые); запустил какую-то гаденькую бороденку. Теперь стыдно и вспомнить. Вхожу как-то к митрополиту.

«А, Кернушка. У тебя совсем славянофильский вид. Православие – самодержавие – народность. Ну-ну, спасайся. Садись. Чаю хочешь?»

«Нет, спасибо, я уже пил».

«Ты, вероятно, предаешься неумеренному аскетизму? А? Ты знаешь, что это запрещается каноническими правилами Гангрского собора?»

«Нет, какой там аскетизм».

«Ну, расскажи, милый, какой-нибудь случай из твоей автобиографии».

Краснею, смущаюсь, особливо если в келии кто-либо посторонний.

«Что ты читаешь теперь?»

«Владыко, много и без системы и, кажется, без толку. Вот сейчас я читал книгу св. Василия Великого «О Святом Духе». А, кроме того, Филарета «Отцов Церкви» и Харнака».

За Харнака неодобрительный взгляд умных глаз, но, впрочем, сейчас же добавлялось, что читать надо все, знать

надо и противника, и ничего не страшно для православного церковного сознания.

«Владыка, а вот теософы говорят, что...»

Следовал умный, неожиданный и уничтожающий довод против теософии и оккультизма. Все это он ведь не из учебников вычитал, ибо именно эти простые и ясные доводы в учебниках не пишут, а от своего ясного и острого ума. От знания назубок текста Библии, но от знания не начетнического только, а очень продуманного.

Сам я, не принадлежа ни к духовному сословию, ни к нашей русской семинарской и академической науке, очень тем не менее рано заинтересовался русской богословской школой и нашей духовной наукой. С первых дней моего студенчества на богословском факультете я читал с увлечением имевшиеся налицо номера старых богословских академических журналов, а главным образом протоколов заседаний Совета Академий, с рецензиями профессоров на академические диссертации, протоколов магистерских диспутов и т.д. Меня всегда привлекала эта сторона жизни школы, эта лаборатория мысли и весь процесс создания научной книги, ее обработка, ее критика, рецензирование ее и все постепенное и упорное воспитание научного творчества. В детстве я с интересом слушал рассказы о разных академических диспутах. Меня привлекал этот мир фолиантов, диссертаций, рецензий и т.п. Поэтому и от митрополита Антония, ректора двух наших академий и яркого представителя нашего умного и ученого епископата, я хотел узнать побольше об этом мире. И владыка давал в этом отношении много, но как всегда по-антониевски, т.е. прямолинейно, цельно, совсем не широко, и, как потом я понял, очень академически односторонне. Но, надо сказать, – ярко, умно, всегда своеобразно, всегда оригинально.

Нельзя ведь забывать всей заслуги митрополита Антония перед русской духовной школой, не забывая, конечно, и весь вред им нанесенный в известную минуту истории нашей школы. Не надо быть его панегиристом. Но значения его тоже нельзя зачеркивать. Антоний – это эпоха в истории.

«Да, да, мой милый Кернушка, сколько вам лет?»

«Да вот 23, владыко святый».

«Вы на каком курсе?»

«Да вот только что кончил юридический, и теперь я на первом курсе богословского факультета».

«Значит, вы кончите богословский факультет 27-ми лет, не правда ли?»

«Да, владыко, выходит так».

«Ну, а я вот, 28 лет был уже архимандритом и ректором московской академии».

Я тогда изумлялся, восхищался. Только подумать: 28 лет и ректор академии! А теперь я вижу всю неправильность этого, неправильность с точки зрения академической иерархичности и просто педагогического опыта. Молодой, очень талантливый инок, блестящий лектор, вдохновенный образованный Антоний Храповицкий поставлен начальствовать над заслуженными Муретовыми,⁵ Лебедевыми,⁶ Голубинскими,⁷ Ключевскими⁸ и многими другими.

Антоний именно и представляет этот типичный для русской культуры контраст. Образованный и блестящий человек, с убеждением и свежей верой и уверенностью в примат Церкви и церковности над всем, получает всю полноту власти над старой школой с ее традициями, с ее тенями Филаретов,⁹ Делицына,¹⁰ Казанского¹¹ и Голубинского. С одной стороны, он вносит новую веру в вечно живую силу Церкви, в обновляющую мощь благодати. Вносит новый протестующий порыв против всякой схоластики, против Макария Булгакова, против рационализирующего протестантизма и латинизма старой бурсы. Вносит струю новой жизни, струю возврата к святым отцам, к литургическому богословию, к церковной традиции. Зовет юношество, с доверием к нему тянувшееся, к иноческому подвигу, к научной работе над святыми отцами, над библейским текстом. Зовет это юношество отрешиться от всей этой уже приевшейся, пресной и прогорклой отравы рационализма, позитивизма, писаревщины, добролюбовщины. Зовет искать интерес и смысл жизни в христианстве святых отцов, богослужении, монастырской жизни, в исповеди и старчестве. Принимает выгнанного за революцию и безверие семинариста и

студента, принимает с широко раскрытыми отеческими объятиями, вселяет в это бунтующее и уже разочарованное сердце веру в самого себя, веру в Бога, веру в подлинность христианства. С верой в возможность спасения каждого человека, даже самого грешного, совсем как у Достоевского, он отогревает этого юношу, сострадает с ним и его грехами, сомнениями и падениями, возрождает его через исповедь и причастие, приводит к иночеству, к пастырству, к служению для спасения других таких же падших и малодушных. Он именно умеет показать, что не Писарев, и не Дарвин, и не Ренан, и не Толстой сказали что-то новое, что уже давно якобы прогоркло в христианстве, а что именно отцы Церкви, типикон нашего богослужения, опыт наших монастырей, красота наших праздников, все это и только это – новое и единственно живое и жизненное, а все другое тлен.

И вот этот Антоний, молодой 38-летний архимандрит, ректор Московской Академии, 33-летний епископ-ректор другой академии, Казанской, молодой, ревностный, в смысле церковном почти радикальный архиепископ Волынский, ревнитель патриаршества, свободы Церкви и ее свободного канонического устроения, талантливый проповедник против Толстого, против Ренана, против латинской унии, этот Антоний, постригший свыше семидесяти русских ученых иноков, ректоров семинарий и епископов, этот же Антоний, не признающий никакого исторического подхода в науке, враг всякой критики текста и сравнительного анализа, этот же Антоний проваливает в Синоде талантливые магистерские диссертации, производит вместе с архиепископом Димитрием ревизию и разгром наших четырех Академий.¹² Этот же Антоний, ревнующий о патриаршестве, о независимости Церкви от государства, мечтающий о Никоне и о Фотие, этот же Антоний окружает себя самыми мрачными типами из Союза Русского народа,¹³ солидаризируется с Русским Собранием,¹⁴ поддерживает на Волыни совершенно неприличное движение псевдопатриотизма. Архиепископу Антонию на Волыни за защиту еврейского населения от погрома местная синагога подносит свиток торы, что очень льстило ему, так как Антоний

очень любил все библейско-еврейское, все ветхозаветное; и он же принципиально боролся с прогрессивной профессурой, публично оскорблял в своих выступлениях либеральных мыслителей, на сборник «Вехи» ответил в сущности политическим требованием.¹⁵ Таков Антоний, весь противоречие, весь непоследовательность. И несмотря ни на что, прекрасный, неповторимый, яркий.

В своих суждениях и оценках богословских книг и наших ученых Антония можно было бы характеризовать как догматиста и моралиста, вопреки всякому историзму и мистике. Все, что было догматически ясно, на постановлениях Соборов основано и все, что вытекало с несомненностью из библейского текста, все, что имело нравственное применение (например, его знаменитое нравственное... основных догматов Православия), все это было ему близко, все это он восхвалял и поддерживал. И наоборот: все историческое, все критическое, все основанное на точном и кропотливом исследовании, или что основывалось на мистической интуиции, на внутреннем восприятии, – все это подвергалось осуждению и неприятию. Мистика и хлыстовство – это были синонимы; научная критика текста, филологический анализ, сравнительная хронология событий – все это уже квалифицировалось как тюбингенщина, как харнаковщина, как ренановщина. Скреплялось к тому же и крепким словцом, на которые владыка был весьма щедр.

Так и русских профессоров и писателей он квалифицировал. Любил Голубинского, особенно Кудрявцева-Платонова, Каринского, Карпова, как мыслителей; из наших новозаветников предпочитал архимандрита Илариона, Феофана Затворника, меньше чтил Муретова, почтительно помалкивал о Глубоковском, но не одобрял. Историков почти огулом не принимал, а особенно не жаловал Голубинского, (Евг. Евстигн.) Лебедева и Субботина. При этом любил подчеркнуть скандальные подробности из отношений Лебедева и Глубоковского. (Известно, что Глубоковский отбил жену Лебедева.)

Относился осторожно, скорее даже с недоверием к о. П. Флоренскому, равно как и ко всему направлению вольного

богословия религиозных собраний и обществ. Говорят, что, как рецензирующий член Синода, он на «Столп и утверждение истины» написал такую рецензию: «Читал 14 дней, прочитал 14 страниц, ничего не понял, но думаю, что степень магистра утвердить можно».

Нечего и говорить, что к Мережковскому и Розанову относился отрицательно. Иронизировал и над Влад. Соловьевым, что тогда меня

необычайно огорчало и уязвляло. Гораздо выше он ценил Кудрявцева- Платонова, чем Соловьева. Тогда я этого не понимал.

К Богословскому Институту его отношение двоилось. С одной стороны, высоко ценил благочестие, уставность, церковность Сергиевского подворья, но, с другой стороны, он не одобрял многое в богословско-научном отношении. К о. С. Булгакову, конечно, он относился более чем сдержанно. Любил лично и даже с некоторой нежностью С.С. Безобразова (еп. Кассиана Катанского). Очень высоко ценил и считал одним из самых умных проф. В.В. Зеньковского.

В общем же его научные интересы ограничивались областью истолкования библейского текста, но отнюдь не вводных сведений, не исагогики, которую он явно осуждал как немецкое изобретение. Любил догматику, но свободную от Макариевско-Филаретовской схоластики. В догматах, как известно, искал их нравственный смысл.

Таким вот и был митрополит Антоний в истории русской богословской школы: освободителем от мертвящей схоластики Макария и Филарета, насадителем святоотеческого духа, проводником аскетического идеала среди молодежи, вдохновителем уставного богослужения, обиходного пения, иконописи по старым, нарочито византийским образцам. Веря в легкое и быстрое нравственное возрождение грешника и заблуждающегося молодого ума, он был покровителем гонимых из семинарий и разных неудачников. Его семинария на Волыни была одно время просто прибежищем всяких изгнанников. Формализм и официальность были ему онтологически чужды. Он искал дружбы с молодежью и безо всякого усилия и

навязывания достигал ее. Даже недруги его признавали его непререкаемый нравственный и педагогический дар покорять себе. Откуда и многочисленная рать иноков, постриженников Великого Аввы. Правда, были среди них и неудачники, скороспелые монахи, быстро в монашестве разочаровавшиеся; и немало было и расстриг среди них. Его популярность среди молодежи создала ему, конечно, и недругов на верхах. Как только в Москву был переведен на место митрополита Леонтия бывший викарий Филарета, Сергий (Ляпидевский),¹⁶ он его быстро перевел в Казань. Это была, конечно, опала. И знали, что это было за антониевский «либерализм». Это Антоний-то либерал!? Вот уж никогда ни политическим, ни церковным либералом он не был и не мог быть. Невзлюбил Антоний и сухого педанта митрополита Сергия Ляпидевского и говоривал, что если ему когда и снятся кошмары, то это только Сергий Ляпидевский.

В своих очень интересных «Автобиографических заметках» архиепископ Тверской Савва (Тихомиров) пишет о том, какое неприятное впечатление произвел этот неожиданный перевод молодого, но уже прославленного ректора архимандрита Антония из Москвы в Казань. Так, в одном из своих писем (А. В. Гаврилову) архиепископ Савва замечает: «...мне думается, что перевод Ректора Московской Духовной Академии едва ли служит для него знамением во благо; а также и пересаждение почтенного старца Ректора Казанской Академии (разумеется, прот. Владимирский) с ученой кафедры в кресло члена Учебного Комитета едва ли можно почитать достойным воздаянием за его почти полувековое служение духовному просвещению. Дивные дела совершаются во очию нашею...»

30 июля 1895 г. Московская Академия прощалась со своим молодым, но уже стяжавшим любовь одних и, конечно, неприязнь других, ректором. Поднесли икону Апостола Иоанна Богослова, говорили речи, о. Антоний трижды отвечал. А на следующий день он был с прощальным визитом у митрополита Сергия. Митрополит сказал: «Я Вас люблю и уважаю; но мы с Вами не сошлись. Вы – человек новшеств и кипучей деятельности, а я – ретроград; Вы преисполнены любви, а я –

человек строгой законности. Для Московской Академии Вы не годитесь, а в Казани будете полезны». Так сказав, Владыка расцеловался с ним на прощание».¹⁷ 31 июля архимандрит Антоний отбыл в Казань.

Я не ошибусь, если скажу, что время пребывания архимандрита Антония во главе двух наших Академий было эпохой в истории русской духовной школы. Наши Академии, как и все вообще школы, знали такие эпохи, которые и вошли в историю их под именами их руководителей. Так, Московская Академия знала свою эпоху Филарета, эпоху Горского, Киевская – свой Иннокентьевский период, в Петербургской был свой Янышевский период, Казанская долго жила под ректорством знаменитого «папаши» о. А.П. Владимирского, создавшего тоже для Казани свою эпоху. Точно так же и Антоний оставил свой «антониевский» период в истории двух наших Академий.

Следует вспомнить самое появление Антония в Москве. Обращаюсь к воспоминаниям старых воспитанников Московской Академии. Был назначен в Московскую Академию инспектором некий архимандрит Антоний (Каржавин), впоследствии архиепископ Тверской, скончавшийся 16 марта 1914 года. Он был знаменит по двум обстоятельствам. Прежде всего тем, что в магистерской диссертации он обнаружил двух философов: Декарта и Картезия, причем в системах их он нашел не только близкое сходство, но и значительное различие. (!) Кроме того он, мрачный и нелюдимый формалист, решил Московскую Академию «прикрутить», завел выходные отпускные билеты для студентов, притирался к ним, относился с недоверием и любил уменьшать балл по поведению даже и примерным студентам просто ради предупреждения, за «тихую предусмотрительность». Его инспекторство окончилось мрачно. Он, после своего назначения ректором в какую-то семинарию, должен был чуть ли не ночью покинуть Сергиев Посад. Его заменил архимандрит Петр, ничем не замечательный. Но ректором Академии был назначен тогда молодой архимандрит Антоний (Храповицкий), который сразу же переменил весь климат в Академии. Он немедленно же покорил все студенческое племя своей образованностью, умом, любовью к

уставному богослужению, красноречием, знанием литературы и светской (в хорошем смысле) культурой. Воздвигнутая Антонием Каржавиным стена и дух формализма и недоверия исчезли совершенно. Академия вздохнула, почував что-то небывалое, что-то весеннее и оживляющее. Отпускные билеты были забыты. Ректор Антоний оказался полной противоположностью инспектору Антонию. Стал зазывать к себе студентов на чай, на откровенные беседы, создал атмосферу полного доверия и радушия. Он сам верил в силу возрождающей пастырской любви и воздействовал этим именно авторитетом любви на мятущееся и сбивающее с толку студенчество. В Академии сразу же воцарилась любовь к церковному уставу, к богослужению, и не тупо-уставщически, а разумно и осмысленно совершающему. Вдохновенные проповеди на евангельские и преимущественно нравственные темы оживили стены старых елисаветинских «чертогов», в которых помещалась Академия и где веял дух казенного благочестия и схоластического богословия.

Академический стихоплет увековечил эти ново-антониевские годы такими виршами:

«Но вот теперь явился другой у нас Антон,
Билеты ограничил и отменил закон.
Зато речами, службой он научит нас любя,
У всякого Антона фантазия своя».

О ректорстве и профессорстве архимандрита Антония вспоминает старый московский студент (протопресвитер Т. Теодорович): «Лекции Ректора по пастырству горели таким внутренним огнем подвига, таким горячим призывом служить Христу и Церкви, что влияние их незабываемо. Многое было нам прощено, потому что надлежаще понято, исправлено и никому из студентов не была испорчена жизнь. Какой-то взаимный огонь тепла смягчил и наши студенческие отношения».

И вот, когда обвиненный в «либерализме» Антоний был сухим формалистом митрополитом Сергием Ляпидевским переведен в Казань, то и для самой молодой из наших Академий настал после длительного периода «папаши –

Владимирского» свой не менее знаменитый период Антониевский. Архимандрит Антоний принял это как церковное послушание и поехал насаждать тот же дух доверия к молодежи, сострадательной любви и монашеского подвига в пределы заволжские. На пароходе в Казань писал он тому же своему б. питомцу по Москве (о. Теодоровичу): «Еду снова возиться с мятежным, но милым студенчеством».

И уехав в изгнание, он не перестал собирать около себя молодежь, преимущественно, конечно, студентов богословов. И мы стали у него бывать, и встречались постоянно с ним на служениях в русской церкви, да и он не раз приезжал в наш студенческий кружок, в дом семьи Зерновых. Он много потом вспоминал эту поездку к нам, видно было, что он искренне радовался быть среди молодых людей, охотно отвечал на наши вопросы, оживленно с нами беседовал, покорил многих, если не всех. И долго потом он сохранил почти со всеми посетителями этого кружка добрые отеческие отношения. Это все, естественно, ослабело, когда кружок видоизменился, примкнул к так называемому Студенческому Движению, которому митрополит явно не сочувствовал. Правда, многое сделало непоправимого церковное расхождение его с митрополитом Евлогием¹⁸.

Митрополит был очень остроумным человеком. Его острый ум и еще более острый язык находили немедленно верные, меткие характеристики, прозвища и оценки. Богатый жизненный опыт и интересная жизнь дали ему ценный запас воспоминаний. Слушать его было одно удовольствие. Зачастую его язык не щадил ни лиц, ни их положения, ни высокого иерархического сана. Нелестные подробности нередко сообщались о том или ином профессоре или архиерее (и думаю, что очень часто необоснованно и зря), к сожалению, воспринимались пытливыми умами молодых людей, которые к этому привыкали и сами, глядя на Антония, позволяли себе его остроты, присказки и определения.

С остролицем митрополита Антония связано и его, вошедшее в предание о нем, сквернословие, его скабрезные анекдоты, которыми его недоброжелатели всегда попрекали.

Прежде всего, должен заметить, что митрополит далеко не со всяkim позволял себе развязывать язык в этом направлении. Я лично почти не помню, чтобы в моем присутствии владыка рассказывал такие анекдоты. Если же это и имело место, то никак не было свидетельством его испорченности, извращенности и нечистоты его ума вообще. Митрополит был очень чистым человеком, терпеть не мог развратников, строго осуждал сластолюбцев, женолюбов, винопийц и проч. А его знаменитые словечки были скорее присущим русскому человеку свободному обращению со словами и выражениями, чем свидетельством его испорченности. Это было все на кончике языка, а не исходило из глубины сердца. Правда, всем известно, что он мог про любовь к сладкому, к шоколаду или варенью сказать «сладострастие», а про подметание пола выразиться, что это разрешение «полового вопроса» и т.д. Совершенно так же он плохое знание проповедником Слова Божия мог определить и так, что у этого лица «слово Божие не вяжется», переиначивая смысл славянского текста из 2 послания к Тимофею 2, 9; и сострить, что Тула единственный город России, который упоминается в Библии, потому что в псалме 10-м сказано «уготоваша стрелы в тule (то есть в колчане) состреляти во мраце...»; также и славянское слово «понос» – гордость употребить в его русском обыденном значении расстройства желудка.

Конечно, не в этом известность митрополита Антония. Прежде всего, это был исключительно церковный человек, т.е. у него была исключительно церковная аксиология и критериология. Он все расценивал с точки зрения примата Церкви. Церкви, а не государства; Церкви, а не прогресса; Церкви, а не светских предрассудков и т.д. И тут в этой связи, прежде всего, передо мной всплывает образ Антония как архиерея, как святителя, как священнослужителя. Не могу не вспомнить, как служил митрополит Антоний.

Прежде всего, тут имел значение его облик. Невозмутимое спокойствие. Боярская красивая внешность. Некоторая груноть не портила общего впечатления. Совершенная уверенность в церковном уставе и чинопоследовании.

Прекрасный ритм и бесстрастность в служении. И в чтение, и в литургийные возгласы он не вкладывал ничего своего личного. Он так и считал, что личная интонация может только испортить впечатление. Должен говорить сам от себя смысл читаемого; а говорить он может только тогда, когда ему не придают своего истолкования. Читал он разумно, внятно, бесстрастно. Но в этом не было никакой монотонности. Отсутствие аффектации делало его службу чрезвычайно осмысленной, прозрачной, строгой и иконописно классической. Это был классик богослужения. Как часто вспоминаешь его и жалеешь об его уходе, при виде современных, молодых и без традиций батюшек из интеллигентов, у которых ни одно слово и ни один возглас не сказано просто, а все с какими-то вычурностями, деланными выражениями и подчеркиваниями, приыханиями, завываниями, замедлениями, ускорениями и т.п. Как он, бывало, не выносил этих стилизаций под Иоанна Кронштадтского или под какого-нибудь кликушествующего декадента! Митрополит был сама трезвость во всех отношениях; откуда у него врожденная боязнь и неприятие мистики. В мистике ему чудилось хлыстовство, кликушество, наигранность. Он совершенно трезво и прозрачно переживал содержание богослужения и давал его переживать и другим не по-своему, не по-антониевски или как-либо по-другому, не навязывая своего понимания или своих переживаний, а позволял через ткань слов проникать во внутренний смысл выражений и текстов.

Почему он терпеть не мог болезненных прижиманий пальцев ко лбу для крестного знамения, а крестился прекрасным размашистым, истовым широким крестом, отнюдь его «не ломая в поклоне». Не выносил, когда кто-либо из батюшек начинал молиться с закрытыми глазами или с закидыванием головы и т.п. «Ну, пошел чудить, кривляться». Терпеть не мог коленопреклонений, правильно замечая, что коленопреклонение появилось к нам с Запада, от католиков, а стоял за метания, т.е. земные поклоны, сохранившиеся на всем Востоке и у старообрядцев. Вообще был поклонником старообрядчества.

Даже природный недостаток, полное отсутствие музыкального слуха, не делало его служения некрасивым. У него было невероятное при его немузыкальности чувство ритма, и оно восполняло недостаток слуха. Это чувство ритма делало его службу исключительно величественной и благолепной.

С годами его бесстрастность в служении умягчилась даром слез, который являлся у него часто, особливо при произнесении установительных слов Евхаристии, при чтении Евангелия, иногда во время проповеди. И тогда его лицо становилось еще более иконописным. Вообще он напоминал ветхозаветного пророка.

Если ему рассказывали о каком-нибудь кликушествующем священнике, особенно из молодых монахов, вокруг которых вздыхали разные почитательницы, можно было быть готовым вот-вот услышать какое-нибудь словцо по его адресу. Не дай Бог сказать вдобавок, что этот батюшка молитвенник, или мистик, или прозорливец. Так и слышу: «А, уже кронштадтить начал...» Или: «А может быть, этот батюшка уже мертвых воскрешает?» Или: «А что, он еще не молится на воздухе?» И добавлял иногда: «Больше всего боюсь бешеной собаки и святого человека». (Понятно, что он подразумевал под словом «святой» в данном случае.)

Велико, да, велико было воспитательное значение митрополита в школе богослужения. Он был стилен до предела, неповторим и незабываем.

Понятно поэтому, как его должны были нервировать, а под старость раздражать священники, не умеющие научиться служить, правильно читать по-славянски, не знающие устав. Тут, при всей его непосредственности и несдержанности, во время службы можно было услышать и весьма нелестную оценку умственных способностей того или иного диакона или священника. Раз как-то один диакон, читая Апостола, прочитал не только напечатанное черным, но прочел и слова киноварью, относящиеся к так называемой преступке текста: «преступи Пятку». Это еще полбеды, но и ударение было искажено и вместо: «пятку», было сказано «пятку». Понятно, что это не

имеет никакого отношения к тексту апостольского послания и к тому же звучит смехотворно.

Другой раз, в неделю расслабленного, чтец на клиросе, молодой студент богослов, не сообразив, что запев на каноне должен быть «слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», вдруг громко возгласил: «Святый расслабленный, моли Бога о нас», за что удостоился громогласного «дурак» стоявшего тут же митрополита.

Я особенно любил слушать его чтение шестопсалмия, или Канона Андрея Критского. Это было почти целиком чтение наизусть и с исключительным монастырским, бесстрастным, но отнюдь не бессодержательным выражением. Церковный устав он знал в совершенстве, уступая, правда, непревзойденному литургию епископу Гавриилу Чепуру. Митрополит и сам признавался, что лучше епископа Гавриила устав никто не знает, даже старообрядческие уставщики.

Владыка был классик священнослужения. Перед собою в прошлом он имел идеальные образцы служения, выдержки, выправки, классического пения, безупречного чтения. Он видел служащими и прислуживал сам митрополитам Исидору и Иоаннику, видел, знал, прислуживал и сослужил при митрополите Антонии Вадковском, митрополите Флавиане, лаврских и кафедральных архидиаконах и протопресвитерах, при вышколенных прислужниках и певчих наших лавр и монастырей, академий и семинарий. Знать службу и устав и заслужить в этом похвалу митрополита было дело нешуточное. Если он о ком-либо говорил, что он хорошо служит, что он молодец, то это было дипломом высшего порядка. Даже немузыкальность митрополита не мешала его богослужебному великолепию. При хорошем регенте всегда можно было скрыть его непопадание в тон или неумение начать запевание какого-нибудь входного стиха или величания. А немузыкален он был до последнего предела. Он абсолютно не различал тонов и мелодий. Но странно: обладал прекрасным музыкальным вкусом и памятью. Преклонялся перед знаменным и греческим пением, любил киевские лаврские напевы и очень стоял за них.

А от концертов Бортнянского или Веделевских «Покаяния отверзи ми двери» митрополит приходил в дурное настроение и не стеснялся во всеуслышание отпустить какое-нибудь резкое словцо об этом стиле пения.

Помню однажды всенощную в Белградском храме. Это было перед Великим Постом. Настало время петь «Покаяния отверзи». Регент, не зная или не сообразив, что митрополит Антоний не оценит его доброго намерения, раздал ноты и задал тон на Веделевское «Покаяние», как известно очень вычурное, концертное и совсем не церковное. На левом клиросе среди студентов богословов и любителей уставного пения стоит на орлеце у своего места в белом клобуке с панагией – подарком митрополита Сергия – и докторским крестом великолепный боярин-митрополит. В глазах добрые огоньки. В бороде улыбка.

«Покаяния отверзи... отверзи... отверзи-и-и-и ми двери, Жизно- давче. Утренюет бо ду-ух мой, утренюет бо ду-у-х мой, дух мой ко храму, ко храму, к храму свят-ому твоему...» и т.д. Стараются басы, со- праны, теноры, альты, все это друг друга очень хитроумно перебивает, оркестровочно-гармонически замечательно сочетается, но молитвенного настроения, конечно, не дает.

При первых же звуках этого концерта с левого клироса слышно мычание митрополита в бороду (знак недовольства), а потом цоканье языком (предельное негодование).

«М-м-м-м-м. Цэ-э-э-э. Эротическое пение. Гадость».

А как он умился лавским «В молитвах неусыпающую Богородицу». Заставлял ее иногда и дома за столом спеть хороших, голосистых студентов, слушал, умился и... тихо плакал, вспоминая Киев, Лавру и все былое великолепие. Или просил спеть какое-нибудь греческое или знаменное песнопение. До упада хохотал, когда я, съездив на Восток, изображал ему греческое пение архиерейских титулов со всеми завываниями, носовыми трелями, руладами, замираниями и проч. До слез смеялся.

Выговаривал с простотой и прекрасной дикцией. Того же требовал и от чтецов и диаконов. Очень любил жившего в Сербии (в Земуне) своего бывшего харьковского протодиакона,

знаменитого царя-баса о. В. Вербицкого, одного из лучших октавистов России. Терпеть не мог, когда кто-нибудь из молодых диаконов «угощал» его митрополита Чесноковской ектенией «Исполним молитву нашу», написанную нотно и очень вычурно.

Очень любил служить по-гречески; всегда эту традицию поддерживал в России в Академии на день Иоанна Богослова, или Духов день, или на Трех Святителей. Радовался тому, что эту традицию мы, богословы белградские, проводили и на чужбине, и сам у нас служил в этот день. Классиком был он и в прямом смысле этого слова: идеально знал греческий и латынь, разумеется и славянский, и любил огорожить каким-нибудь вопросом по части грамматики или синтаксиса греческого, славянского или даже и еврейского. Любил поддеть молодежь на ударениях или окончаниях.

«Горе имеим сердца». – Чудная улыбка по всей бороде и коварные огоньки в глазах. – А вы, батюшка, конечно, напишете «имеем». Не правда ли?

Чайный стол насторожился. Батюшка, наивный третьекурсник, наивно соглашается.

«И ничего подобного. Вовсе не «имеем», а «имеим». Потому что это повелительное наклонение.

Или: «Тебе Бога хвалим» вы, конечно, Миша (иногда употреблялось «вы» вместо «ты»), пишете через ять «Тебе»». Миша не подозревает ловушки и тоже соглашается.

«И вовсе не «Тебе» дательный падеж, а «Тебе» винительный».

Как-то раз мне попало за неправильно поставленное дополнительное ударение в случае двусложной энклитики в греческом языке.

На всякой архиерейской литургии он архиерейскую молитву «Призри с небесе, Боже, и виждь» говорил на трех языках. Сначала по-славянски: «Призри с небесе, Боже, и виждь, и посети виноград сей и утверди и, его же насади десница Твоя». Потом греческое: «Корье, Корье, ея(3Хефоо еЦ оораяоо харь8е харь еяахефоу -сг)о арьлехоо таогг] ^ харь ха- тарьаоу аотг[у т]У ерротеоае т] 8е|яа аоо».

И, наконец, латинское: «Оотте, Оогтпе, гекрюе бе саe1о e1 уьбе e1 У1зиаУ1 утеат 1иат e1 сопйгте еат, циат р1ап1аУ11 бех1ега 1иа». Это звучало всегда очень торжественно и вселенски правдиво.

Когда митрополит съездил на интронизацию румынского патриарха Мирона, то, воротясь оттуда, он стал говорить по-румынски: Доамне, Доамне... Но это не имело той замечательной звучности и медности латинской фразы. Особенно неблаголепно было окончание этой молитвы, где слова «десница Твоя» по-румынски звучали «дряпта та».

Не могу не вспомнить одного анекдота с владыкой в Палестине по поводу все той же молитвы. В 1924 г. митрополит ездил в Иерусалим по делам нашей Миссии. Он побывал и в Дамаске у своего друга патриарха Антиохийского Григория IV. После своего возвращения из Дамаска в Иерусалим митрополит оставался там еще некоторое время. Надо сказать, что с первых же дней пребывания в Иерусалиме, еще до поездки в Дамаск, митрополит заставил какого-то «знатока» арабского языка из наших же соотечественников написать ему эту молитву по-арабски, выучил ее и произносил ее на каждой литургии после греческого и славянского ее вариантов.

И вот по возвращении митрополита из Дамаска патриарх Григорий послал ему с ответным визитом старого сирийского митрополита (кажется) Захарию. Наш владыка предложил митрополиту арабу сослужить в ближайшее же воскресенье в нашей миссийской церкви. Араб поблагодарил, но не служил. Он остался в алтаре и молился во время служения нашего владыки. Дело дошло до малого входа и потом до Трисвятого, во время которого, как известно, архиерей и произносит эту молитву с крестом и дикирием. Антоний вышел в положенное время из алтаря и начал по-гречески: «Кирие, Кирие епивлепсон ек урану...» и т.д. Потом произнес по-славянски: «Господи, Господи, призри с небесе...» и, наконец, начал по-арабски выученный текст. Вдруг неописуемое изумление и даже ужас выразились на лице присутствующего митрополита Захарии:

«Зацем, зацем он так говорит? Зацем он нехорошо говорит? Зацем так нехорошо?»

Оказалось, что наш митрополит Антоний «ничтоже сумняшеся» вместо «Призри с небесе» говорил «Христос воскресе». Удивительнее всего то, что за эти два месяца митрополит каждое воскресенье произносил эти слова и ни наш драгоман, милейший Г.Н. Халеби, ни кто- либо из братии не поинтересовался тем, что же говорит митрополит, и были совершенно к этому равнодушны. А тут же присутствовали и интеллигентные русские люди, служащие нашего консульства и Палестинского общества и другие, которые оставались совершенно безучастны к тому, что и как совершается в церкви.

Недаром Антоний, острословя на счет бесцерковной русской интеллигенции, говоривал, что русская интеллигенция не знает, в чем разница между кадилом и митрополитом.

Я говорил, что митрополит Антоний был классиком в смысле стиля богослужения, пения и устава. Он не выносил, между прочим, молебнов после литургии, считая, что литургия завенчивает все последование богослужебного дня, а что молебны суть произведения дурного литургического вкуса, «поповской бездарности». Терпеть не мог акафистов в церкви, кроме как положенного в пятницу 5-й недели Великого поста акафиста Божией Матери, который он и читал всегда в своем келейном правиле. Он совершенно правильно замечал, что большинство русских акафистов суть образчики декаденции нашего литургического вкуса. В этом он сходился с митрополитом Филаретом, которого в остальном недолюбливал. Не признавал коленопреклонных молитв. Не любил итальянской живописи в церквях, а ратовал за возрождение старого иконописного стиля, на котором он воспитался в родной Новгородской губернии.

Митрополит никогда не смущался допущенными им случайно ошибками или промахами в богослужении.(Один только папа римский думает, что он никогда не ошибается, говоривал он.) В этом равнодушии к своим несовершенствам и к тому, как их примут критики, было большое и настоящее смиление. Смиление и состоит отчасти в том, чтобы не ставить себя в центре общественного внимания. Характерный пример такой простоты и невозмутимости владыки Антония передал

мне митрополит Владимир (Тихоницкий). Когда патриарх Григорий IV Антиохийский проезжал в 1913 г. из Петербурга через Почаев, то митрополит Антоний устроил там хиротонию архимандрита Дионисия (Валединского), будущего Варшавского митрополита во епископа Кременецкого, своего викария. Это было большим и никогда не виданным торжеством на Волыни, особливо при участии патриарха. И вот, когда после малого входа и пения «Святый Боже» должна была быть совершена хиротония, все архиереи, вероятно волнуясь от присутствия патриарха, забыли про ставленника и прямо после «Святый Божий» взошли на горнее место. Несчастный архимандрит Дионисий остался стоять в недоумении у престола. И вдруг на весь алтарь раздался звучный голос архиепископа Антония Волынского:

«Братцы, братцы, пойдемте скорей назад: про хиротонию забыли».

Это было так просто, так непринужденно и спокойно. Что думал бедный архимандрит Дионисий, не знаю. Но любители всюду подмечать приметы запомнили это не без суеверия, а потом в бытность Дионисия без лести преданным пилсудчине митрополитом любили вспоминать про это «предзнаменование»¹⁹.

Навсегда останется воспоминание об этой невозмутимой тишине и трезвом спокойствии, которое исходило от митрополита при его служении. Его выводили из себя безграмотность чтецов, певцов или диаконов, театральность, вычурность, наигранность, искусственное умиление – словом, все то, что он презрительно называл «мистикой». Надо было видеть, как он читал домашнее правило; это одни из лучших воспоминаний, – совместная молитва, совместное чтение правила перед литургией с митрополитом Антонием. Федя читком, скороговоркой читает повечерие, а потом митрополит читает канон или акафист. Читает не спеша, просто, внятно, бесстрастно, крестится истово, красиво и уставно. Глаза смотрят перед собой совершенно спокойно, как-то особо трезвенно. Никогда не помню закрытых глаз, деланого слащавого тона, псевдоумиления. Совершенно так же слушал

он перед литургией чтение входных молитв. Когда он подходил к местным иконам с клобуком на плече, медленно кланялся в пояс или, когда можно по уставу, земно (кстати, какая красота были эти антониевские земные поклоны, несмотря на всю его грузность и старческое недомогание) и просто, без аффектации прикладывался к иконе.

Так же и при облачении он спокойно и просто стоял на «рундуке» и с милой улыбкой умного лица смотрел, как «студентики» Миши, Сережи, Володи подносили ему облачение, облачали его, прислуживали ему. Старый протодиакон Вербицкий говоривал про него, про его облик при облачении: «Орел! Эк как стоит. Словно “овча на заколение ведеся”».

Строго и благоговейно стоял он во время литургии. С той же улыбкой он ждал радостного для него момента в чтении Писания или в евхаристическом каноне. Слова Спасителя под конец жизни часто произносил со слезами; нередко глаза увлажнялись слезами при слушании Евангелия, особенно при чтении им Страстных Евангелий. Боже! Как Антоний читал первое страстное Евангелие! Кажется, и сейчас слышу его голос: «Ныне прославися Сын Человеческий...»

Он мог, правда, отпустить какое-нибудь замечание или зацокать языком от какого-нибудь промаха в словах, ударениях или неправильном кждении. Но это не было гневом или раздражением, а просто инстинктивным, рефлективным ответом, как у хорошего музыканта от фальшивой ноты в оркестре.

Он очень не любил отсебятины и неуставности. Всякие «жизнь» вместо «живот» и т.п. Осуждал Сергиевское (архиепископа Сергия Страгородского) исправление богослужебных книг с «вечеря Владычня» вместо «странствие Владычне» и т.д. Не любил, когда батюшки вместо уставного земного метания по-бабы становились на колени, или, помилуй Бог, еще на одно колено. Посмотрит, бывало, искоса и с усмешкой: «Эк, мол, поп». Вообще считал, что уставно служат только монахи (исключение делалось только, может быть, для о. Петра Беловидова, не меньшего, чем сам митрополит, классика устава и богослужения). Не любил архиереев из

вдовых батюшек, а так как таковых было в русской иерархии немало, то многих владык он не жаловал. Он уверял, что архиереи из вдовых не знают устава, что они и кадило готовы двумя руками благословлять, потому что «дорвались, мол, до архиерейства». Также не любил, когда архиерей на утрени перед славословием возглас «Слава Тебе, показавшему нам свет» произносил с дикирием и трикирием, а не просто воздевая руки. Это, собственно, обычай не великорусский. Его я видел у митрополита Евлогия и вообще западно-русских епископов. Сам митрополит Антоний, архиепископ Анастасий, епископ Гавриил никогда этого не делали и не одобряли этого, а все эти три владыки были великими мастерами богослужебной красоты.

Величествен был Антоний при хиротониях. Уверенно (сколько же сотен иереев и диаконов он посвятил!) совершал он это умилительное таинство. Наклонившись к уху ставленника и покрыв его голову омофором, он шептал ему (как сейчас помню эту незабвенную минуту):

«Возведи очи сердца твоего к Престолу Господню, проси о прощении твоих грехов и о даровании тебе непорочного священства».

И часто, о, как часто, при чтении совершительной молитвы, при умилительнейшем пении «Кирие элейсон» его глаза блестели от слез.

Несколько ниже я скажу о моем собственном рукоположении.

Я сказал, что Антоний не был мистиком и не признавал мистики в духовной жизни. Это странно при его уме и правильности восприятия церковной жизни. Но между тем это так. Объяснение этому я нахожу в том, что он всю свою жизнь боролся с рационализмом и схоластикой рационалистическим же методом. Рационализм и морализм были основными координатами его богословствования. Борясь против рационализма и отвлеченного богословствования в школе, он вводил, как оружие, тот же рационализм, но растворенный моралистическим пониманием догматов и духовной жизни. Это странно, но тем не менее это было основной слабостью

владыки. Вместо того чтобы схоластике наших семинарских учебников противопоставить мистическую интуицию, апофатическое и даже антиномическое богословие, он рационализировал до конца и морализировал. У него все было и должно было быть ясным в его ответах на богословские вопросы. Я уже сказал, что у него совершенно отсутствовало чувство проблематичности.

В своем нравственном восприятии догматов он, конечно, оживил сухую и отвлеченную схоластичность макариевской доктрины. Догматы стали для него, а через него и для его служителей живыми истинами. Он ими жил, как жили ими и святые отцы. Это незабываемая заслуга Антония, но это же и его слабое место, так как не все в духовной жизни ограничивается одним нравственным моментом. Морализование приводит легко к протестантскому пуританизму, к своеобразному кантианству. И, как это ни странно, для митрополита Антония Кант был ближе, чем мистики среди отцов Церкви. Многое и у Толстого (его морализование) было для Антония приемлемее, чем Соловьевские потуги мистических откровений. Этим, конечно, я нисколько не сближаю Антония с Толстым. Между ними лежала непреодолимая бездна толстовской нецерковности.

Мистика была для митрополита Антония почти то же, что и хлыстовство. Он не отличал подлинно церковной мистики наших исихастов от неправославной аффектации крайних католических проявлений мистики. Любопытно ведь и то, что владыка очень осторожно относился и к Иисусовой молитве. «Лучше по молитвеннику молиться, чем четку тянуть и повторять одно и то же в ожидании небесного света». Этим объясняется и его крайне непримиримое отношение к имяславию. Известно его и архиепископа Никона (б. Вологодского) участие в разгроме афонских имяславцев. Показательно тут не то, что Антоний восстал против крайних проявлений имяславчества, происходящее от дремучей непросвещенности и богословской беспомощности безграмотных мужиков-афонитов, а его абсолютное невосприятие всей проблемы Имени. Антоний был крайним

номиналистом. В этом смысле Антонию был абсолютно чужд Платон.

Т.А. Аметистов, большой почитатель митрополита Антония, человек богословски сведущий, очень острого и циничного ума, однажды в минуту безделья в Константинополе сказал митрополиту Антонию по поводу его отношения к исихазму, Паламе, мистике и т.д. буквально следующее:

«Вот я представляю себе, владыко, что Вы встретились бы со св. Иоанном Златоустом и св. Григорием Паламою и Вы бы им сказали так. Сначала Паламе: «И охота Вам, преосвященнейший Григорий, писать вещи, которые ни люди не понимают, да и Вы сами объяснить толком не можете. Вот взяли бы пример с преосвященнейшего Иоанна: все у него ясно и применимо к жизни, все имеет нравственное обоснование».

Антоний, конечно, очень оценил выходку Аметистова, поняв всю ее меткость и остроту.

Цельность митрополита проявлялась особенно сильно в его взгляде на Церковь. Он стоял на безусловно правильном и единственно возможном понимании единства Церкви. Церковь – одна. Других церквей нет и быть не может. Все, что не согласно с этой единой церковью, в смысле ли вероучительном, в единстве доктринального предания, или в смысле каноническом, в единстве богоустановленной иерархии, – все это ересь, раскол, самочинное соборище. Этот взгляд для многих может показаться слишком формальным, слишком упрощенным, слишком узким. Да! Митрополит Антоний был очень далек, просто совершенно не конгениален современным нам так называемым экуменическим настроениям, когда боль о разделении церковного единства и чувство братской любви к иноверным и инославным приводит к такой уже широте и такой доктринальной и канонической индифферентности, что границ Церкви вообще не видит, что разницы между богоустановленной иерархией и самосвятыми не замечает, и готовы устраивать общение в молитве со всяким, называющим себя священником, но не имеющим на то никакого ни формального права, ни основания по существу. Тайна Церкви остается всегда тайной. В основе учения о Церкви лежит восприятие Ее как мистического

Тела Христова, и одними только формальными определениями катехизиса, что Церковь есть общество верующих, объединенных одной верой и т.д., не исчерпать всей проблемы Церкви. Но от катехизиса митрополита Филарета с одной стороны до Стокгольмских, Эдинбургских и Оксфордских постановлений²⁰ очень далеко.

Митрополит Антоний стоял на точке зрения канонов, соборных постановлений, на учении Киприана Карфагенского и вообще святых отцов, на учении, вполне разделяемом и римо-католиками. Что не согласно с Церковью, основанной на единстве вероучения и единстве иерархии, все это – не Церковь. Поэтому митрополиту и была близка диссертация архимандрита Илариона (В.А. Троицкого) и учение А.С. Хомякова.

Молясь об единстве Церкви, владыка всегда понимал эту молитву, как прошение о воссоединении еретиков и раскольников к Православной Церкви. В этом он был близок с римо-католиками. Церковь – одна, поэтому Рим и не может стоять на равной линии с англиканами, лютеранами и протестантами. Поэтому-то Рим и не участвует как равный на экуменических съездах, а присутствует только как наблюдатель и сторонний судия, судящий с точки зрения не комбинаций и соглашений разных заблуждений, а с точки зрения единой, непреложной и никогда не меняющихся церковной позиции и церковного критерия.

Но владыка совершенно так же расценивал и самое католичество. Рим для него был также еретик и больше ничего. Он отрицал у католиков все, кроме права называться еретиками. Их таинства – не таинства. Их священство – не священство. Их иерархия безблагодатна. Известен его афоризм, что папа – простой мужик. Тут-то, как мне кажется, митрополит не различал основного в так называемой экуменической проблеме, а именно: одно – самосвяты, англикане и раскольники, беспоповцы-лютеране, а другое – Рим с его непрекратившейся апостольской преемственностью иерархии, со святоотеческим преданием, с единством учения, с общением святых, с почитанием, перешедшим в особый культ Богоматери

и Ее непорочного зачятия, с таинствами, признаваемыми и нами, с чудесами. Как мне представляется, подлинная боль и язва церковной проблемы именно в вопросе нашей отделенности от Рима, а не в потугах уступничества и соглашений с разными самосвятными сообществами, возникшими из Лютерова и Кальвинова откола от Римской церкви.

Митрополит Антоний смешил эти две проблемы. Он одинаково судил и о латинах, и об англиканах или лютеранах. И если можно даже и требовать безоговорочного присоединения всех этих отщепенцев от подлинного предания и иерархического начала в Единой Церкви, и если только такой, на мой взгляд, подход к экуменической проблеме и возможен, то в отношении к римокатолицизму митрополит не понимал всей остроты вопроса и зачеркивал все, что требовало внимательного и осторожного изучения. Изучения и соборования разумею настоящих богословов в мирной обстановке молитвенного единения в любви, а не шумных съездов сотен разношерстных деятелей и дельцов без единства богословского авторитета, без общего языка предания и критериев, без единого плана и программы. Съездов, где на одинаковой линии стоят лица совершенно различные по всему: греческий митрополит, либеральствующий профессор в священном сане или просто мирянин, дилетант церковный публицист без какого бы то ни было патента на богословское образование, юные студенты англиканских колледжей, девицы из анонимных и таинственных мировых организаций и референты-чиновники Интеллижанс Сервиса. И все это ездающее на чей-то счет в слипигах и аэропланах, останавливающееся в лучших отелях, в течение двух недель обрабатываемое афишами, брошюрами, речами, собраниями и т.д. В конце какие-то резолюции. Скороспелые признания действительности иерархии и рукоположения (?) со стороны румынской церкви или либеральствующего богослова с Балкан, и все это в обстановке международного напряжения, желания загарантировать свои границы и наскоро сделанные территориальные приобретения, вожделений о нефти и экономических рынках и т.д. и т.д.

Это все претило здоровому чувству святоотеческого и церковного предания пок. митрополита. Претило так же, как оно претит и сознанию католических богословов, которые на это могут только снисходительно смотреть, регистрировать и ждать удобного момента в минуту разложения всего этого искусственного сцепления присоединить к Риму какую-нибудь группу таких деятелей.

В этом было вполне понятно основное чувство настороженности и даже брезгливости у владыки по отношению ко всей этой шумной деятельности. Но нельзя не жалеть о его полной нечувствительности в вопросе разделения с Римом. Он ставил на одну линию Рим и англиканство.

Митрополит мыслил о Церкви и о доктринах в духе древних канонов. Он подчеркивал всегда в прошлом церковной жизни те прещения и канонические постановления, которые в наше время всецело забыты. Отлученного соборным постановлением от единства церковного считал возможным принять только через установленный чин покаяния или миропомазания. Он умилялся тому, что на Востоке у греков (равно как и у наших старообрядцев) продолжает существовать запрещение причащаться на 3, 5, 7 и больше лет. Раскольника или еретика он считал безусловно вне Церкви. Церковь была для него таинственной жизнью в таинствах, а не мертвым консисториальным аппаратом. Он, как и св. Киприан Карфагенский, не понимал слова «перекрещивание». Еретика можно только крестить, а никак не «перекрещивать», ибо вне Церкви нет крещения.

Он любил эти древние запрещения наших канонов об абсолютном неучастии с раскольниками или еретиками ни в чем. «Даже и из общей чаши не пить, даже и в бане не мытися купно». А когда ему, бывало, задавали тот же вопрос о Церкви в его сотериологическом аспекте, т.е. ставили вопрос о спасении, спасутся или нет те или иные отщепенцы, он отвечал: «Якоже и китайцы, ибо у Бога все возможно»

Невероятно милостивый и снисходительный в отношении личного греха и падения по слабости (влияние Достоевского),

он был неумолим и до крайности принципиален и узок в вопросах конфессиональных и церковно-канонических.

Это же отношение к церковно-канонической дисциплине определило позицию митрополита и в вопросе, так называемого, заграничного раскола. Не входя в обсуждение вопроса по существу, надо все же сказать, что владыка Антоний не остался последовательным проводником своих канонических принципов. В Константинополе в начале эмиграции он отрицательно относился к плану епископа Вениамина (Федченкова) об организации Высшего Церковного Управления за границей, подчиняясь в Царьграде патриарху Вселенскому. А потом он под влиянием своего мрачного политического окружения организовал сначала на территории Югославии свое управление с Синодом и Собором (в чем очень мешал Сербской Церкви и вызывал большое неудовольствие патриарха Варнавы, который мне это сам неоднократно говорил), а потом распространил свое управление и на всю Европу и даже на весь мир, совершенно не считаясь с канонической традицией о прерогативах Вселенского престола ²¹.

Но не этого вопроса собираюсь я здесь касаться, а хочу только вспомнить, что митрополит перенес в очень провинциальную расплюю нашего зарубежья атмосферу соборных прещений, канонических постановлений и пр. Карловацкий собор себя считал единственным правым, а в доказательство своей правоты и власти начал запрещать, отлучать, а главное, произносить страшные слова о недействительности таинств у евлогиан и т.д. Сколько душ было этим смущено, сколько сердец было лишено на долгое время церковного утешения. Но сам митрополит был в этом вопросе непоследователен и нелогичен.

Нашу эмигрантскую церковную расплюю он громко называл расколом, своим соборам придавал значение такое же, какое имели соборы древнего времени, когда и люди и обстановка были совершенно иные по духу и культуре. Он искал Афанасиев и Григориев в обстановке нашего церковного расхождения и был поддерживаем в этих своих поступках и мыслях людьми дурного совета, которые потом сами же переменили окраску и

предали его же, Антония. Началась та, всем памятная полемика, подтверждаемая канонами соборов V-VI вв., соборными постановлениями, цитатами из святых отцов.

Митрополит, а главное безответственное окружение политиканствующих его советников, широко говорили о безблагодатности священнодействий «евлогиан». Митрополит в Белградской церкви совершил вторичное отпевание (разумеется, заочное) почившей Государыни Императрицы Марии Феодоровны, ибо отпевание митрополитом Евлогием он считал недействительным. Страшно и вспомнить! И тут-то у меня (тогда уже архимандрита) произошло крупное недоразумение с митрополитом, т.к. отказался участвовать в этом отпевании, после чего меня владыка укорил и пригрозил, что сегодня ночью ко мне явится покойная Государыня, как Пиковая Дама. Признаться, и сравнение было неудачным, и настроение, в котором это было сказано, было очень раздраженным. Юпитер сердился. Был ли он прав? Так его настроили его политиканствующие советники.

Что сам он так не думал, видно из неоднократных моих с ним разговоров наедине, в обстановке мирной и благожелательной. Так, например, когда один из наших бывших студентов N, уехавший в Париж, женился там, кто-то из молодежи, сказав об этом митрополиту, спросил его, венчан ли N, или это безблагодатное венчание.

Митрополит, разглаживая свою великолепную бороду и насупившись, сказал, стиснув зубы:

«Глупости. Конечно, венчан. Два старых дурака поссорились из-за выеденного яйца, а потом раздули».

Вот в этом весь Антоний с его непоследовательностью.

Еще лучшим доказательством его настроения была самая сцена «примирения» его с митрополитом Евлогием, приехавшим весной 1933 г. в Белград и просившим прощения у Антония. Присутствовавшие при этой картине вспоминали ее со слезами. Два старых архиерея лежат друг у друга в ногах, просят о прощении и требуют прочтения каждый над собой разрешительной молитвы. Сцена поистине из патерика древних времен.

А наряду с этим в течение всего этого мрачного периода «раскола» он заставлял «каяться» в грехе «евлогианства» и требовал от клириков, приходящих из юрисдикции митрополита Евлогия, отрицания от своих заблуждений и принимал их через покаяние.

Оставляя в стороне самый вопрос «раскола» по его существу, т.е. прав ли был Антоний, не послушавшийся указа патриарха Тихона, или митрополит Евлогий, принявший этот указ, но продолжавший и далее подчиняться Синоду в Карловцах, а потом от него отошедший и оставшийся в ложном положении после своего неподчинения Москве, к подчинению которой он постоянно призывал, скажу лишь, что непоследовательны были оба митрополита. Евлогий поправил свое положение только тогда, когда он вспомнил, что в Западной Европе, вне пределов автокефальных церквей (Русской, Сербской, Элладской, Румынской) покровителем и главой является Вселенский Престол. Этот акт митрополита Евлогия является актом историческим и незабываемым²². Надо только жалеть, что под конец своей жизни, поддавшись уговорам политиканствующих своих советников, он поспешил в Москву, в чем, однако, горько на смертном одре раскаивался. Подчинение Константинополю и было единственным возможным и верным решением нашего изгнанического церковного бытия. Если бы к нему пришли или, точнее, с него начали в 1920 году, не было бы всех расколов, соблазнов, кощунственных слов и огорчений.

Скажу, наконец, что митрополит Антоний, сам предельно церковный человек, мыслящий в категориях канонов, соборности и святоотеческого предания, начал и в жизнь проводить эти принципы, проводить безоговорочно и остро, забыв совершенно, что среда, в которой он действовал, забыла все эти принципы давным-давно и была совершенно канонически невоспитана и безграмотна. Он не учел исторически изменившейся обстановки. Сам по своему духу и воспитанию будучи живым носителем церковно-канонических принципов древности, он захотел подчинить этим принципам совершенно расцерковленное общество. Каноны и соборы были

просто не по росту и не по плечу русским людям, просыпавшимся после долгой синодальной спячки.

Я несколько уклонился от порядка хронологического. Возвращаюсь к нити моих воспоминаний. В июне 1925 г. я окончил и богословский факультет. Предстояло устраиваться на службу. В принципе было мною решено два вопроса: я поступаю на педагогическую службу в духовную семинарию и со временем принимаю священный сан.

По времени я был первым из русских, кончивших богословский факультет. Да и сербов было еще не много. Кроме того, на учебнодуховную службу было в то время и не так много охотников. В Министерство Вероисповеданий я подал прошение о зачислении меня в духовную семинарию преподавателем. В Королевстве С.Х.С. было всего пять духовных семинарий: в Сремских Карловцах, в Призрене, в Сараево, в Цетинье и в Битоле. Когда чиновник принимал мое прошение, он спросил меня, какую семинарию я предпочитаю, думая, вероятно, что я буду проситься либо в Карловцы, как резиденцию патриарха и ближайшую к Белграду семинарию (всего 11\4 часа езды), либо в Сараево, как очень приятный город, столицу Боснии и семинарию, считавшуюся хорошей. Он был весьма удивлен, когда я попросил Южную Сербию (т.е. в просторечии Македонию), и именно Битоль. У меня было желание, вполне продуманное, уехать подальше от Белграда, посидеть в тишине и глуши, подумать перед принятием священства; это была первая причина. Вторая – я знал в Битоле преподавателя семинарии архимандрита Николая (Карпова), б. студента Московской Духовной Академии, который впоследствии меня и постриг в иночество. Кроме того, у меня было какое-то необъяснимое влечение, еще с детских лет, со времени балканской войны, жить в городе с этим привлекательным греческим именем – Монастырь.

Прошение было принято, но ждать пришлось очень долго. Летом Министерства работали вяло, восточный принцип «явшаяваш» (т.е. потихоньку-потихоньку, или, по-сербски, «по лаку – по лаку») процветал в полной мере, а потом под конец лета в Цетинье были торжества по случаю перенесения праха Негоша,

митрополита цетиньского и известного сербского поэта, автора «Горски Венац». Все министры, да, кажется, и Король уехали на эти торжества, и до поставления новых преподавателей семинарии мало кому было дело.

Я скучал без дела в неизвестности. Чувствовалось, кроме того, что белградские годы прошли, перевернулась какая-то страница жизни, страница очень яркая, светлая, свежая, но уже пережитая, и что надо начинать новую главу. Многое в Белграде тяготило, напоминало то, что хотелось забыть. Мои друзья готовились к конференции студенческих кружков, собираившейся в монастыре Хопово, с которым связана была вся наша жизнь в Белграде. Я на конференцию решил не ехать. Там собрались многие интересные люди: митрополит Антоний, сербские епископы, м. игумения Екатерина, о. Сергий Булгаков, о. Иустин Попович и очень многие друзья.

В субботу я стоял в алтаре русской церкви у всенощной. Вдруг мне сказали, что меня хочет видеть только что приехавший из Парижа профессор Богословского Института С.С. Безобразов, живший до того в Белграде. Он ехал в Хопово на съезд.

Я очень обрадовался приезду Сергея Сергеевича, которого всегда очень любил. Он мне передал, что Богословский Институт предлагает мне быть своим профессорским стипендиатом для подготовки к кафедре Литургики. Предложение было исключительно заманчивым. После факультета сразу же возможность готовиться к профессорскому званию, жить в Париже, работать в обществе о. Сергея Булгакова, проф. Карташева, Зеньковского, С.С. Безобразова, всех моих друзей по Белграду, которые постепенно переселялись в Париж. А с другой стороны, поданное прошение на сербскую службу, семинария, македонский городишко, глушь и, конечно, никакой связи с Европой и, может быть, окончательный разрыв со всеми теми, кто был так дорог за все эти годы.

Надо было решаться. К моему первоначальному решению о семинарии присоединялось нравственное обязательство отработать сербам то, что на меня затратили, как-то и чем-то

отплатить тому народу и его Королю, которые мне спасли жизнь и дали возможность стать человеком. А с другой стороны, подготовка к профессорству в Париже или жизнь в Оксфорде, возможность скорого получения степени в центре мировой культуры и русского рассеяния.

Наутро я решил с первым же поездом поехать в Хопово, посоветоваться прежде всего с митрополитом Антонием, с оо. Алексием Нелюбовым и Петром Беловидовым, моими духовными руководителями и друзьями, повидать и о. С. Булгакова и посоветоваться с моим зятем, который тоже поехал на съезд послушать и посмотреть.

В Хопово я поспел, прия со станции пешком (16 километров) к концу литургии. Тотчас же после ее окончания я всех нужных людей повидал, но не сразу мог определить свое решение. В сущности, за мою поездку в Париж стоял только один о. С. Булгаков. О. Алексий и хотел и не хотел моего туда отъезда. И надо сказать, что его опасения я вполне разделял и его желаниями я тоже вполне был проникнут. О. Петр Беловидов не сказал решительного «нет», но я знал, что он не сочувствовал ни Парижу, ни Богословскому Институту, ни моему туда вызову. Зять мой был тоже сдержан, но мнения своего не высказывал, чтобы не связывать меня. Оставался суперарбитр, митрополит Антоний.

«Да, да, мой милый. Вам предлагают в Богословский Институт. Конечно, Вам там место, потому что Ты человек науки и книги. Конечно, это для Вас очень хорошо. Но все-таки лучше Вам сначала перейти через преподавательство в средней школе, в семинарии. Семинария Вас научит гораздо больше и жизненным вопросам и самим богословским предметам. Вы в семинарии будете вынуждены преподавать и Священное Писание, и Историю, и Литургику и т.п. А в высшей школе Вы станете сухим и узким специалистом. Если будете преподавать историю, то станете специалистом по Карлу Великому или по арианству; а если будете догматику читать, то только одним каким-нибудь вопросом займетесь и засохнете».

Трудно было мне в тот день вынести окончательное решение, но все же под вечер не вполне уверенно я ответил о.

Сергию: «Нет». Я знаю, что он был очень огорчен, так как любил меня и хотел меня видеть в Париже.

Я думал, что митрополит, который так и не сказал определенно свое окончательное мнение, все же в душе не хотел моего отъезда к митрополиту Евлогию. Думаю также, что он не был вполне свободен в своем совете мне. Потом я понял, что близкие мне люди высказывали ему свое опасение и нежелание моего перехода в Париж. Думаю также, и даже больше того, уверен, что эти люди были правы. Тогда в Париж мне ехать было не полезно. Мне нужно было пройти свой путь по Востоку, и надо сказать, что Промысл начертал для меня исключительно важный и интересный путь: Македония, Палестина, Египет, снова Македония. А потом, когда обстоятельства сильно изменились и когда я сам очень вырос и изменился, я попал в Париж и в тот же Богословский Институт.

С болью и горечью шагал я в ту ночь среди виноградников на станцию железной дороги, почувствовав, что я решительно повернул свой корабль в каком-то очень неизвестном направлении, но повернул уже надолго в другие воды. Этим решением в Хопове я как-то отрезал пути отступления. Через месяц я был назначен в Битоль, и уезжал в неизвестную мне дикую Македонию, страну тогда еще разбойников (качаков), страну Леонтьева, в близкое соседство с Грецией. Это особая глава моей жизни. Пока что продолжаю мой рассказ о митрополите Антонии.

С отъездом в Битоль, естественно, несколько ослабела связь с владыкой. Новая обстановка, новое дело, новые люди по-новому направили течение моих мыслей и интересов. Вместо еженедельных встреч с митрополитом в церкви и частых посещений его на квартире я мог теперь только изредка переписываться с ним. Это было и трудно и неловко. Как-то совестно было беспокоить старца своими незрелыми письмами и своими семинарскими интересами, тем более что митрополит немедленно же отвечал на всякое письмо. Но все же я ему писал о семинаристах, о преподаваемых предметах, об общей обстановке. Мне пришлось в первый год моего преподавательства среди других предметов взять и

нравственное богословие, которое всегда мне казалось трудным для преподавателя и малоинтересным для слушателей. Мы не имели и не имеем своей чисто православной системы нравственного богословия. Все сводится к схоластической системе и перечню добродетелей и грехов в отношении к Богу, к ближнему, к самому себе. Тот же Антоний называл это презрительно «грехологией». Скукой и сухостью веяло от всех наших учебников. Сколько ни приходилось прочитать курсов этого предмета, от всех осталось воспоминание неприятное. Вдохновить, увлечь этот предмет не мог. Если проповедь Христа и апостолов влекла за собою тысячи, если пример подвижников благочестия древнего христианства порождал поколения последователей и учеников, то от семинарских и академических курсов несло невероятной тоской и затхлостью. И семинарский курс Солярского, и «Система» еп. Стефана Курского, и учебники Олесницкого, Бронзова, Янышева могли только отбить всякую охоту быть нравственным, если под этой «нравственностью» надо было понимать христианскую жизнь и делание. Ничем не лучше был огромный том Мартинсона, протестантского теолога. Я об этом всем писал митрополиту Антонию, жаловался, вспоминал его наставления и мысли. Он, помню, посоветовал мне «Начертание христианского нравоучения» епископа Феофана Затворника. Это мне очень помогло, за что я очень остался признателен и митрополиту и самому Затворнику, которого вообще мало люблю и им не увлекался (кроме как его замечательными толкованиями на апостольские послания). Особенno мне понравилось не схоластическое понимание добродетели и греха, как доброго или злого дела, положительного или отрицательного факта духовной жизни, а как скорее состояние души.

Как-то раз, кажется еще в мои студенческие годы, владыка Антоний говорил, что нравственное богословие надо было бы преподавать по Добротолюбию и по Постной Триоди. Это, конечно, суженный взгляд. Эти книги хороши для аскетики, тогда как нравственное богословие одной аскетикой не ограничивается.

Я был очень рад, что на второй год моего пребывания в семинарии я отделался от «Моралки», как звали ученики Нравственное богословие, а остался при Апологетике, которую я все больше и больше сводил к религиозной философии, и при Греческом языке, который я тогда научился уже любить крепко и на всю жизнь.

Во внеклассных делах я старался следовать советам владыки из его прошлой педагогической деятельности. Вспоминал его рассказы о его близости со студентами и семинаристами. Конечно, сербская обстановка существенно иная, чем наша русская; среди сербских семинаристов не было тех настроений, которые вдохновляли молодого иеромонаха и архимандрита Антония Храповицкого. Нельзя было забывать, что это Балканы и что только что в этой стране отшумели бури трех войн (Турецкой, 1910 г., Балканской, 1912, и Великой 1914–1918 гг.). Но, в общем, я старался руководствоваться советами владыки. Я воспринял от него веру в молодое сердце и молодой ум. Конечно, и дистанция была огромного размера между Великим Аввой Антонием и маленьkim преподавателем, вчерашним Кернушкой. Но все же завязались крепкие дружественные связи со многими семинаристами, русскими и сербскими. Долго спустя приходилось встречаться в Белграде, или в поезде железной дороги, или в каком-нибудь селе со своими бывшими питомцами, и, кажется, плохих встреч я не помню.

На Рождество я оставался в Битоле, а на Пасху и на летний вакант ездил в Белград. Но, помнится, новое дело так увлекало, что я с трудом дожидался конца каникул и старался на два-три дня раньше приехать в семинарию и в «мой» Битоль, который действительно скоро стал моим. Этот город, полуразрушенный, но полный греческих и турецких воспоминаний, какими-то тенями Леонтьева привлек меня к себе крепкими узами любви.

На Пасху 1926 г. я поехал в первый раз из Битоля в Белград. Поехал с архимандритом Николаем. У меня, собственно, было уже решение принять пострижение. О. Николай меня очень поддерживал; передумывая свою жизнь за

эмигрантские студенческие годы, я пришел к этой мысли. Но теперь, оглядываясь назад, скажу, что тогдашнее решение моё все же не было свободным от многого: от некоего влияния самого Антония, во-первых, от разговоров с о. Николаем, а также и от переписки с архиепископом Феофаном Полтавским, который дарил меня своим доверием и любовью. Много, конечно, значил и эстетический момент. Решительнее же всего, пожалуй, было настроение некоего пессимизма, мне в сильной мере присущего, некоей если не разочарованности, то все же сознания неудачи в жизни. Появилось какое-то безвкусие к жизни, ощущение какой-то пресности и никчемности. Теперь вижу, что с такими настроениями не делают решительных шагов в сторону священства, а тем более монашества. Но тогда меня все равно никто бы и никогда не переубедил. Как и во многом в жизни, нужен был свой, автентичный опыт, а не советы других, хотя бы и во сто раз более мудрых, людей.

Как бы то ни было, я на Страстной неделе был у митрополита и сказал ему о своем желании. Я был уверен, что митрополит тут же меня расцелует и нескованно обрадуется моему решению. Как же по-другому? Антоний-то? Не постричь молодого человека?

И как это ни странно, митрополит, который никогда никого не отталкивал от монашества, велел мне ждать. Сколько? Ну хотя бы год... Так я и уехал в Битоль все тем же Кернушкой.

Зима 1926/27 учебного года была последней в моей светской жизни. Осенью, начиная учебный год, я еще не знал, что закончу его уже в духовном сане. До Рождества я еще не был твердо уверен в моем будущем. Случилось все как-то почти само собой. Святки были очень оживленные, в русской колонии было много вечеров, а колония в Битоле была довольно большая благодаря скоплению в городе и в округе многих русских инженеров, врачей, преподавателей, землемеров и просто рядовых беженцев. Но я почти нигде не бывал, кроме разве двух-трех домов, да и то неохотно. Семинария меня увлекала. Я много работал над греческим языком, сравнивал перевод богослужебных книг с оригиналом, занимался Священным Писанием, читал Феофановские

толкования на апостола Павла, выписывал себе много книг из Австрии от Хердера и из Германии от Фока, пополнял свое образование, правда, пока что без особой системы. Впрочем, много работал над вопросом эпиклезы, о чём после писал и в сербских журналах, и потом в своей книге «Евхаристия» уже в 1946 г. в Париже.

Но после Святок вдруг как-то сразу переменилось. Внутри словно что-то оборвалось. А главное, крепло чувство, что в жизни что-то кончилось, чтобы не сказать, что сама жизнь кончилась. Стало все кругом неинтересно. Книга, церковь, семинария давали много. Тогда казалось, что все так и останется. Будь я не в глухом, зимой снегом занесенном Битоле, а в Париже, с его церковно-научными интересами, вероятно события сложились бы иначе. Если не ошибаюсь, то 17-го января, в день преп. Антония Великого, я пошел в митрополию к епископу Иосифу, с которым у меня тогда были очень прохладные отношения. Я его не понимал, он меня задевал своими выпадами против русских, – а я тогда был очень национально настроен, что потом совсем, после Иерусалима, сгладилось, – он это видел и еще больше меня педагогически выдерживал в своих выпадах, а я еще больше от него сторонился. Ну, словом, я пошел в митрополию и подал ему прошение о пострижении. Он это воспринял иронически, но прошение принял, меня благословил, даже расцеловал. Я просил о пострижении меня в русском монастыре Мильково в Браницевской епархии. Хотелось принять пострижение в обстановке русских трогательных традиций, напевов и среди своих. Было ли это правильно? Не все ли равно, где и как отрекаться от «красных мира»? Да и было ли это настоящим отречением?

Переписка с митрополитом Антонием, с епископом Браницевским Митрофаном, со всякими священническими портняжными заведениями заняла немало времени. Я попросил меня отпустить на Пасху раньше времени. На пятой седмице поста я был уже в Белграде, примерял подрясник и рясу, клобук и мантию. Жил в какой-то обстановке обреченности. Раз

решено, сказано, написано, дело идет, надо следовать раз принятому решению.

В Белграде я не задержался. Очень скоро я поехал в Мильково. Накануне, вечером, в привычной и такой родной обстановке нашей квартиры на Приштинской улице на меня, помнится, напал приступ сомнения, почти протеста. Я испугался, заколебался. Сидел на своей кровати, и мои близкие поняли, что со мною нехорошо. Помню, сердобольная душа, всегда и повсюду меня опекавшая и мною болевшая, неуверенно спросила:

«А может быть, лучше обождать? Может быть, потом, летом или через год?»

«Да не все ли равно, сейчас или через год делать этот шаг? Раз делать надо, то делать скорей».

«Да, милый, но ведь возврата нет. Нельзя же принимать такое решение в таком состоянии».

Это был нелегкий вечер. Но и он прошел.

А впереди были еще более нелегкие дни в Милькове. Это было почти невыносимое нравственное терзание. Даже и вспоминать не хочется. Поэтому опускаю подробности.

Вкратце было так. Дни до пострига (всего пять или шесть) прошли в необыкновенно подавленном состоянии. Меня охватил ужас, буквально ужас. Что я делаю? Куда я, безумец, бросаюсь?

Кроме обычного настроения перед постригом (об этом многие рассказывают), настроения неуверенности и сомнения, меня охватил ужас монастырской общежительной жизни. Не тот факт, что я от него отказываюсь и не смогу в будущем иметь какую-то собственность или есть всегда постную пищу. А тот факт, что монашество – это беспросветный физический труд; это окружающая среда безграмотных мужиков; это сфера интересов о сегодняшней трапезе, о монастырских новостях, о том, кто завтра служит и т.д.

Я к этому миру и к этим интересам и не привык и не хотел привыкать. Физический труд мне всегда внушал отвращение. Полоть траву в огороде или увлекаться сенокосом, уборкой хлеба, ссыпкой картофеля я никогда не мог. И в былое время на

Сеже я скучал от этих разговоров, от постоянных беспокойных взглядов на барометр, поднимается он или падает, о том, что Знейка захромала, а гнедая кобыла жеребая, а Бесенок набил холку и т.д. Я всегда любил деревню, но не как раб хозяйства и помещичьей сельскохозяйственной обыденности. Я всегда презирал «дачников», которые не отличают пшеницы от ржи, не умеют запрячь лошадь или смазать колесо в телеге и проч. Но наряду с этим я никогда не мог увлекаться землею, свиньями, лошадьми, посевом, словом, всеми интересами Константина Левина.

Народником я тоже никогда не был. Поэтому монастырь, как средоточие сельскохозяйственных интересов, как мужицкий мир, как принципиальное обскуранство, каковым был Мильково (кроме самого настоятеля о. Амвросия) и, думаю, большинство наших русских монастырей, кроме разве Оптинского скита, где переводили святых отцов и писали книги, – был мне по существу чужд.

Тогда, совершенно не думая о том, о чем я потом много думал, говорил и писал, т.е. о монастырской жизни, как у бенедиктинцев или доминиканцев, я это все же нутром и очень глубоко почувствовал и переболел.

Кроме того, и это самое главное, я совершенно не проходил и не прошел послушания в монастыре. Как все русские монахи-академики, я принимал пострижение прямо «от мирского естества». Меня не научал на один мудрый и ровный настоятель; надо мною не был произведен тот психоанализ, который надо произвести над всяkim, кто решается на путь духовной жизни; я не прошел школы послушаний в огороде, в швальне, в кухне и проч., что необходимо и для нас – белоручек-монахов из «ученых». Я попал в сугубо «толченую» среду. Я ее не хотел, я ее принципиально не любил. Мне хотелось тихой монастырской обстановки большого бенедиктинского монастыря, с его библиотекой, с учеными и умными приорами и со своим собственным журналом, с семинарией внутри этого же монастыря, с визитациями разных умных и ученых прелатов и аббатов и пр.

Я провел эти дни перед постригом просто в состоянии неприязни и ненависти к этому образу жизни. Огород, грязные келии, разговоры не о книгах по Священному Писанию или о Патрологии Миня, а о том, что о. Макарий сказал то-то и то-то, а о. Иувеналий ответил ему так-то.

Между службами в холодной церкви и работами в огороде (был конец марта) я ходил как в воду опущенный, унылый и, помню, призывал Бога хоть как-нибудь положить предел этому мучению. Пусть сегодня-завтра меня постригут, а там сейчас же уеду обратно в семинарию. Там книги, ученики; буду служить. Начну жить по-новому.

Сочувствующим свидетелем всех моих переживаний был мой б. ученик по семинарии Сережа Анисимов. Он сам побывал несколько лет тому назад на Афоне, видел тамошние монастыри и немало думал о монашестве. Видя мои внутренние волнения, допытываясь от меня, что со мной и в чем дело, он очень мне внутренне сочувствовал. Я ему говорил о моих сомнениях, о внутренней тяжести, о неприятии мною всей этой атмосферы, главным образом этого мужества. Он мне очень помогал. Но дело шло своим чередом, приехал архимандрит Николай, которому митрополит Антоний поручил совершить пострижение. В пятницу на 6-й неделе должен был приехать епископ Браничевский Митрофан, который хотел присутствовать на постриге.

Я помню, в этот день сжег последние свои мирские «реликвии» и воспоминания, с которыми мне было очень трудно расстаться. Вижу и в этом неправильность того, как дело шло. Все это было как-то искусственно, внешне, а не изнутри идущим, не результатом пережитого и пережженного в монастырской тиши процесса внутреннего созревания.

Вспоминаю все эти дни с чувством гнета и тоски даже и теперь. Вижу всю неправильность в нашем русском приятии монашества в условиях вне ученого монастыря, вне своей, конгениальной среды. Потом из многих разговоров, из чтения многих книг, святых отцов, аскетических сборников, воспоминаний и проч. я понял, как в корне неверно поставлено это дело у нас. А знакомство впоследствии на Западе с

монастырями типа Солемм, Сольшуар, Амэ и др. только меня укрепило в моем мнении.

Не останавливаюсь больше на этих подробностях моего последнего мирского дня. Началось в обычное время повечерие, а потом и утреня Лазаревой субботы. Я до этого исповедался у своего старца о. Амвросия. Кстати, и тут было искушение. До последнего дня я еще не выбрал себе духовного руководителя моей новой жизни. Я думал о совсем другом человеке, и слава Богу, что Бог меня от него уберег, ибо наши пути потом диаметрально разошлись. О. Амвросий был очень оправдывшийся человек, очень цельный, монах по природе, добрый, всецело восприявший Антониевское понимание священства как сострадания ближнему. В прошлом он окончил филологический факультет Варшавского Университета, а в среднем образовании он семинарист.

Запели Великое славословие. Послышались терзающие сердце и незабываемые звуки «Объятия Отча...»

Не описываю чина пострижения, всем известного.

Я, конечно, не знал своего будущего имени. Хотел быть или Филаретом, или Никодимом, или Алексием. Впрочем, и тут я был пассивом в ожидании. Я и не знал, какая мне грозила участь. Архимандрит Николай, любитель неожиданных имен, хотел меня назвать Кукшай, и только запрещение митрополита Антония, которому он перед отъездом в монастырь это сказал, избавило меня от этого неблагозвучного имени. Сам Антоний, оказывается, мне выбрал имя мое. Он колебался между Климентом (в честь Клиmenta Охридского) и Киприаном.

Он сам объяснил свой выбор. Св. Климент, ученик святых Кирилла и Мефодия, святительствовал в Охриде, т.е. в ближайшем соседстве с Битолем. А св. Киприан, родом серб, был Киевским митрополитом.

«Ну вот и хорошо. А тут русский, приехал к сербам, у них служит, и еще, может быть, будет сербским архиереем».

Митрополит очень верно угадал.

Вообще в моей жизни очень знаменательны даты и небесные покровители. В самом деле: я родился в день святых Кирилла и Мефодия (11 мая ²³), в какой день и память св.

Никодима архиепископа Сербского (ум. 1325). В этот же день и основание Константинополя. Мирское имя мое Константин, основателя Византии и родом из Ниша, теперь сербского города. Пострижен я с именем св. Киприана, серба родом, киевского митрополита, ученика патриарха Филофея, и вероятно, Григория Паламы, над трудами которого я потом немало поработал. И жизнь моя в значительной степени прошла в Сербии, а духовное поприще, во всяком случае, началось в Сербии. Кстати сказать, в 1933 г. любивший меня и отмечавший патриарх Варнава выставил мою кандидатуру на епископство в Сербской церкви, но я отказался, за что он меня ласково журил и укорял. И частенько мои друзья-сербы говорили мне за дружеской беседой: «Ну, вы, русские, должны нам одного Киприана. Мы вам дали одного своего, который стал Вашим первосвятителем; теперь и Вы должны вернуть свой долг».

Итак, я услышал над собой в положенный момент:

«Брат наш Киприан, постризает власы свои...»

Так я и стал Киприаном, или, как меня чаще называли простые русские люди, Куприян. А мог бы быть и Кукшай.

В день св. Тита, 3-го апреля, я был пострижен. В положенную минуту о. Николай обратился ко мне со словом поучения, которое я, несмотря на мою хорошую память, забыл, но помню, что главной темой было то, о чем мы с ним неоднократно говорили, а именно, что нет и не должно быть никакого ученого монашества. Он решительно отвергал это деление и отнюдь не сочувствовал моим тенденциям к ученому затвору, к бенедиктинизму в православном, разумеется, облике и направлении.

Слово меня это тогда укололо, но обстановка была такая, что все забывалось по сравнению с переживаемым моментом. Я остался один. Было прохладно. Я открыл на клиросе маленько оконце. Мигали звезды, цвели яблони. Как сейчас помню их нежный аромат. Помню также очень явственно, что пел в лесу, тут же за алтарем, соловей. Это пение перебивалось шумом полноводной Моравы, под самым монастырем. Я закрыл окно. От времени до времени я оправлял нагоравшую лампаду, кутался в мантию, поправлял

надвигавшийся на глаза непомерно большой клубок. В полночь пришли оо. Николай и Амвросий и по неписанной монашеской традиции пропели мне «Се Жених грядет в полуночи...» До утра я остался один. Ясно помню одно: ужасно хотелось не жить, хотелось смерти, и было так невыразимо спокойно на душе.

В монастыре я остался только до следующего дня, чему, по правде, был очень рад. С дневным поездом с о. Николаем и о. Феодосием (Федей) уехали в Белград. У всенощной я был в своей, белградской, церкви. Всенощную служил архиепископ Анастасий, который мне всегда импонировал своей большой стильностью. Я и не знал, что очень скоро моя судьба будет тесно связана с ним.

Митрополит оставался в Карловцах. Встал вопрос о моем рукоположении во диакона. Келейник митрополита, знаменитый Федя, передал архиепископу словесное желание митрополита Антония, чтобы меня рукоположить на литургии следующего же дня, т.е. Вербного Воскресенья, но архиепископ, строгий законник, не хотел этого сделать без формального письменного поручения митрополита, что я очень в нем оценил, т.к. форму и законность любил всегда, и очень не любил и не люблю формализм и законничество. Было решено, что после всенощной с тем же Федей я уеду в Карловцы к митрополиту для рукоположения его рукою в Карловцах. С ночным поездом мы прибыли в патриаршую резиденцию. Помню и мое первое представление митрополиту.

Он уже собирался ложиться. Было начало первого часа. Поверх подрясника на митрополите была какая-то розовая фланелевая пижама, так как было еще довольно холодно, отчего весь облик владыки был очень домашний и уютный. (И откуда у него оказалась такая непредвиденная церковным типиконом пижама?!) Я подошел к нему и «состворил учиненное метание», т.е. земной поклон. Боялся, как бы мне не споткнуться и не запутаться в подоле подрясника, довольно длинного, даже и на мой рост.

«А, дорогой мой. Раз-два... Ну вот так, не запутался в новом одеянии? Ми-ильй мой. Ну, что ти есть имя, брате?»

«Грешный Киприан, владыко святый».

«Ну, так, так. Спасайся в ангельском чине. Ну, что? Доволен своим именем?»

«Да, владыко, очень доволен. Благодарю Вас».

«Ну, так, так. Вот сербы нам дали одного Киприана, а теперь мы им тоже одного возвращаем».

«Да, владыко, но они-то нам дали святого Киприана, а мы им что возвращаем?»

Владыка неподражаемо, по-антониевски улыбнулся.

«А ты знаешь, что тебя о. Николай Кукшай назвать хотел? Но я тебя отстоял. Ну, значит, доволен?»

Но несмотря на все мое неприятие мильковского стиля и радость, что я уехал из этой малобенедиктинской стихии, все же в душе у меня сосало чувство какой-то известной неловкости, вроде как угрызения, что я не просидел в церкви положенных трех ночей. Я это сказал митрополиту.

«Ну, это ничего. Я тоже так. И вот всю жизнь толкаюсь на толкучем рынке. Так-то и ты будешь в миру свое монашество проводить».

Тогда я не понимал, как это будет трудно и как плохо я буду его проводить.

«Ну вот, завтра я вас буду рукополагать в иеродиакона. Только вам надо будет завтра до литургии к преосвященному Максимилиану пойти за благословением. А сейчас иди с Федей правило читать».

Наутро я был у викария патриарха, епископа Максимилиана (Хайдина), и в свое время на литургии, в кафедральном соборе св. Николая был рукоположен во иеродиакона. У сербов полагается, чтобы вновь рукоположенный читал не ектению «Прости, приимше...», а просительную перед Отче наш, т.е. «Вся святыя помянувш...». Прочитал я ектению без запинки, за что после заслужил похвалу митрополита.

«Ты будто много лет уже диаконствуешь. Очень уверенно и хорошо».

Я боялся, не произошло бы какой-нибудь неприятности с хором, не был уверен, попаду ли в тон и не совру ли в музыкальном отношении, но и тут все прошло хорошо.

Был очень страшен момент прохождения через царские врата. Но, в общем, рукоположение в иеродиакона не произвело на меня такого потрясающего впечатления, как само пострижение, а главное, посвящение в пресвитера. Я все еще жил воспоминанием тишины моей ночи после пострига. От сомнений и терзаний в последние дни перед монашеством не осталось и следа. В сердце было и спокойно, и даже пусто. Чувствовалось, что что-то прошло, что-то вылилось из сердца, и началось что-то новое. Желание не жить продолжалось. И, думаю, если бы пришлось встретить в те дни смерть, я бы это сделал легко и без сомнений.

После литургии викарий пригласил к патриаршему столу и меня. Это было довольно ощущительным контрастом – обедать в обстановке карловацкого патриарха по сравнению с мильковской нищетой и теми обетами, которые я только что произнес. Не могу не остановиться на обстановке патриаршего двора в Сремских Карловцах. До того я никогда не был внутри этого дворца, а только созерцал его извне. Дальше покоев митрополита Антония я не проходил. Во дворе усадьбы стояла «старая патриархия», гораздо более скромная и уютная. А большой дворец с его широчайшими коридорами, колоннадами, лестницами, скульптурными изображениями, покоями и пр. совсем не гармонировал с понятием об архиерейском доме. Не знаю, каковы были покои митрополита Санкт-Петербургского или Киевского в их лаврах, но с уверенностью предполагаю, что той мирской роскоши, бутафории и пышности там не было. Здесь Габсбурги решили польстить Православию, задобрить большую часть своих подданных, из коих очень многие спасались, как эмигранты в их владениях от зверства турок. Великое переселение сербов православных имело место, как известно, в XVII и XVIII вв. при печеных патриархах Арсении III Чарноевиче и Арсении IV Шакабенте. Габсбурги отдали фрушскую гору в Среме для устройства на ней «Сербского Афона». Свыше 15 монастырей расположились в живописных равнинах и на склонах этой привлекательной, лесом и виноградниками покрытой горы, вернее невысокого, длинного (верст на 40) холма. Там цвели мужские монастыри, с богатыми

угодьями, образцовым хозяйством, прекрасной обстановкой, богатыми библиотеками, в прочно построенных корпусах и сводчатых келиях. В наше время все это сохранилось. Не было только одного... монахов. Это была не пустыня, а пустые здания. В лучшем случае жили в этих трехэтажных монастырях игумен и один-два послушника, «искушеника». Это было жалкое свидетельство о былом богатстве и расцвете духовной культуры.

Центром, вокруг которого эти монастыри процветали, была Патриархия в Карловцах. Там уже не богатство, а просто дворцовая роскошь бросалась в глаза. Патриаршие покои на втором этаже были переобременены роскошными и пышными украшениями. Покои отдельных митрополитов и архиереев, приезжавших на соборы, и трапезная также поражали своим убранством. В столовой стоял очень широкий обеденный стол, накрытый скатертью с ткаными гербами. Посуда и хрусталь с гербами патриархов. Лакеи в форме. Тонкие блюда, хорошее местное фрушкогорское вино. После обеда в соседней комнате подавалось кофе. Монастырского уклада, конечно, никакого.

Владыка Максимилиан был очень приветлив и радушен; принимал, как хозяин, выросший в этом дворце и, вероятно, даже и не задумывавшийся над этой придворной декорацией. После обеда Федя, с разрешения викария, показал мне весь дворец, начиная с маленькой капеллы и кончая тронными залами и гостиными патриарха. Я помню только, что была голубая и красная и желтая гостиные, и курительная(!) комната и все в таком духе. Со стен смотрели из золотых рам бывшие патриархи времен Габсбургов в муаровых красных рясах и красных шапочках, как у католических прелатов, и все в орденах.

Я потом, уже архимандритом, часто бывал в этом дворце у патриарха Варнавы, который меня любил и отмечал и даже выдвигал на пост своего викария. Он, в отличие от патриарха Димитрия, не любившего Карловацкого дворца, бывал в Карловцах часто, подолгу живал, и это великолепие, по-видимому, импонировало его имперским замашкам. Но всегда в этих дворцовых, пышных и роскошных покоях я себя чувствовал

неуютно. Видно было, что прежде всего эта декорация не к лицу православному архиерею, не гармонирует своим отсутствием духовности с присущим нашему понятию об архиерее аскетизмом и монашеским смиренномудрием. Бывало ли оно всегда в покоях митрополичьих и лаврских, я не знаю, но думаю, что такого, как в Карловцах, псевдодворцового стиля в них не было.

Чувствовалось, как государственно мудры были католики Габсбурги. Они приютили у себя сербских эмигрантов, беженцев от турецкого «зулума», равно как их приютила и Великая Екатерина в России. В Среме, Бачке и Банате эти сербы колонисты стали своеобразной Сечью для защиты южных областей Империи от турецких орд. Но этим «запорожцам» дали тотчас же соответствующий австро-венгерскому, габсбургскому «К. унд К.» режиму, мундир и регламент. Православие, которое они со своими патриархами

Арсениями III и IV принесли с собою, от них не отняли, его не гнали, но и свое католическое население от него охраняли. Себя обезопасили от «схизмы». Как? Гонениями? Отнюдь. Это бы только укрепило Православие в его исповедничестве, как это имело место всюду под турками. Поэтому ему дали такое положение, при котором все есть в изобилии, даны все права в народном самоуправлении, просвещении, экономике и пр., но духовная независимость благодаря этому постепенно исчезла. Карловацкие архиереи были сановниками Венского режима. Они получали ордена Золотого Руна, Марии Терезии и пр., титуловали их Высокопревосходительствами, Действительными Тайными Советниками и Кавалерами (что, между прочим, писалось даже на антиминсах), проживали они в своих фрушкогорских монастырях и в Патриархии в великолепных покоях и гостиных, ходили в муаровых рясах, «реверендах», ели на гербовой посуде, выезжали в каретах, вызывались в Вену или Пешт для высочайшей аудиенции, при наречении в архиереи, говорят, они подписывали какой-то белый бланк бумаги, словом, становились послушнейшими рабами Габсбургского двора. В сущности, все патриархи Бранковичи и Богдановичи потеряли совершенно свой когда-то в истории

авторитет печальников своего народа. Разительным поэтому всегда был контраст между карловицкими патриархами, черновицкими митрополитами и прочими австрийскими православными прелатами, живущими в шелку, довольстве и политическом, да и в духовном рабстве с одной стороны, и подневольными, невзрачными с виду архиереями, патриархами и игуменами турецких областей: Греции, Сербии, Болгарии, едва-едва существующими в своих полуразрушенных монастырях и митрополиях, ничего кроме фасоли и кукурузного хлеба не имеющими, очень часто заканчивающими свою исповедническую жизнь повешенными на воротах своей митрополии или посаженными на кол на площади своего города, но духовную свободу свою сохранившими!

Возвращаюсь, однако, к повествованию о себе.

Первые три дня Страстной седмицы я служил в белградской церкви как второй диакон, а однажды и как первенствующий при архиепископе Анастасии. Служение преждеосвященной Литургии с архиереем – весть довольно сложная, в дни Страстной особенно усложняющаяся чтением Евангелий, а при таком требовательном архиерее, как архиепископ Анастасий, и совсем трудная. И должен к своему удовлетворению сказать, что ошибок я почти не делал. Протодиакон (о. Иоанн Вайдренко), строгий критик, подметил у меня на первой литургии шесть промахов, причем такого свойства: при каждении я не перекинул орарь через левую руку, не сказал перед какой-то паремией «Премудрость» и т.д. А потом я узнал, что владыке Анастасию особенно понравилось мое чтение Евангелия, что он тут же одному лицу заметил и вообще добавил, что меня бы он хотел иметь в своем ближайшем окружении. Вот каким образом и совершилось мое скорое назначение к нему в Иерусалим. Тогда-то я этого не знал, конечно, но все же, помню, особых литургических затруднений я не испытал, и ни устав службы, ни сноровка служить для меня не были камнем преткновения. Помню один совет митрополита Антония насчет каждения, который и мне очень помог, а потом через меня и другим облегчивший это движение.

«Возьми, — сказал мне митрополит, — вот эту книгу под мышку правой руки и валяй, братец». Он мне подал толстейшую «Постную Триодь». Сразу стало ясно, что не надо при каждом махать всей рукой, а только частью от кисти до локтя; плечо должно быть совершенно неподвижно.

Диаконствовал я четыре дня. На Великий Четверг я был рукоположен во пресвитера. Это для меня осталось знанием на всю жизнь — рукоположение в день установления таинства Евхаристии как бы преднамечало мое священство как преимущественное тайнодействие. Не проповедничество, не душепопечение, не требоисправление и уж не социальная хлопотливость, конечно, были мне указаны Пастыреначальником, а именно литургическая, теургическая евхаристическая служба в священстве. Не могу не признать, что это для меня и осталось всегда самым важным в священстве, но и очень трудным. Я, вероятно, мог бы и должен был бы больше и чаще служить.

Когда еще студентом я один раз говорил с о. П. Беловидовым о таковой возможности в будущем, я просил его, чтобы в день моей хиротонии пели бы Херувимскую Львовскую, как особенно молитвенно-лирическую. Он мне это обещал. А вышло так, что на моей хиротонии не пели никакой Херувимской, и выводили меня из алтаря под звуки и при словах «Вечери Твоей Тайныя днесь...», звуки, которые я всю жизнь не мог слышать спокойно и равнодушно. Перед посвящением во иеряя я пережил нечто вроде того, что было со мной перед постригом. Это была какая-то Голгофа оставленности, уныния и малодушия. Я готов был бежать и даже не идти в церковь, я невероятно испугался бремени священства, моловерничал, озирался вспять. Вечер Великой Среды и утро Великого Четверга я провел очень болезненно и пребывал в страшном мраке и унынии. Даже вспоминать теперь страшно и мучительно.

Служили оба святителя, Антоний и Анастасий. Конечно, в духовном плане совершенно безразлично, какой архиерей рукополагает, ибо действует здесь благодать Св. Духа, а не личные достоинства — ум, святость или кротость того или иного

архиерея. Но все же мне приятно, что восприял я благодать священства от руки Великого Аввы и что на моей хиротонии молился и очень мною чтимый святитель Анастасий, великий молитвенник, мудрый архиерей и стойкий борец за свободу Церкви от ига ее поработителей.

Не хочу и здесь записывать отдельные подробности этой минуты, но не могу не вспомнить этого страшного момента, когда на голову легли омофор и руки митрополита, а над ухом почувствовал теплое дыхание его, и знакомый и милый мне голос зашептал:

«Возведи очи сердца твоего к престолу Всеизыншняго...»

Еще страшней была минута вручения частицы Агнца:

«Приими залог сей и сохрани Его...»

И тут тоже, вспоминая эти слова, чувствую, как я всю свою священническую жизнь небрег ими...

После этого дня на меня напало особое пастырское искушение: боязнь служить. Вместо положенного сорокоуста я почти совсем не служил долгие недели. Я боялся Чаши, боялся своей неподготовленности, своего недостоинства, боялся быть опаленным божественным огнем и т.д. Больших усилий стоило мне победить в себе это наваждение. В Битоле, в так называемой нижней церкви у Митрополии, где почти никого не бывало, я начал привыкать служить. Очень меня тогда подбадривало присутствие в алтаре почти на каждой обедне владыки Иосифа.

Вечером я участвовал в чтении 12-ти Евангелий. При большом соборе священников мне пришлось читать, кажется, 7-е Евангелие, которое я читал на паперти, так как много народа стояло и вне храма.

На другой день, в Великий Пяток после Выноса Плащаницы, имело место некое искушение. О. Петр в виду большого наплыва исповедующихся в этот день просил и меня ему помочь. Мне поставили на лой, дали в руки требник, и ко мне пошли исповедываться люди, которых я знал по церкви, а с некоторыми был и близко знаком. Я ничего не подозревал. Настоятель храма велел исповедывать, значит, нечего и рассуждать. Я и поисповедал человек 30–40.

Но уже в Битоле, на Святой неделе получаю письменную головомойку и от о. Николая, меня постригавшего, и от о. Амвросия, моего аввы: «Молоко еще на губах не обсохло, мирской хвост еще не обтрепался, а уже туда же лезет, исповедует, старчествует, духовничает».

Я просил письменно прощения за такое невольное самоволие. Отцы мои покрыли это любовью, и только лет через 4–5 я получил разрешение исповедывать, что считаю совершенно справедливым. Неверно искать совета у только что рукоположенного молодого и неопытного иерея. На Востоке, у греков, существуют специальные духовники «пневматики», поставляемые на духовническое служение особым чином и руковоождением архиерея. Это по преимуществу старые, опытные священники, знающие и жизнь и Номоканон. И у нас в Требнике существует предупреждение священнику без особой грамоты от архиерея не принимать никого на дух, а самый чин поставления нами не совершается, и разницы между духовником и обычным священником мы не соблюдаем. Духовничество и опасно и ответственно. Ему надо учиться опытом жизни и духовного делания, которых нет у новорукоположенных иереев.

Вернулся я в свой Битоль иеромонахом Киприаном, с маленькой бородкой, едва отрастающими волосами и в длинной русской рясе в талию. Только по возвращении с Востока я перестал носить наши рясы-поддевки, а решительно перешел в великолепную греческую широкую рясу. Служил я мало, как я уже писал. Летом уехал в Белград, где меня привлекали хорошая факультетская библиотека, своя белградская церковь и свой дом. Съездил я и в Мильково, но, каюсь, не выдержал там больше двух недель и поспешил обратно к библиотеке. Конечно, это не могло не огорчать о. Амвросия, но я думаю, что он меня понимал, и он не насиливал моей воли. Вообще-то с монахами у меня сложились прекрасные отношения. Были там два валаамца, пострадавшие за старый стиль и убежавшие от преследований в Сербию, где им патриарх Варнава (тогда еще скоплянский митрополит) дал один монастырь, Лешак, из которого, впрочем, они быстро

разбежались по разным монастырям. По-видимому, отрыв от своего улья не благоприятствует постоянству в духовной жизни. Были и другие монахи, русские и сербы, но все помоложе, из своих же послушников. Старые же русские монахи, так сказать кадровые, – а их было немало, – уже отравились жизнью на приходах, куда их сербские архиереи посыпали за недостатком своего священства, погибшего на войне; они предпочитали спокойный уют приходского священника, особенно в «преко», т.е. в бывших австрийских областях, где жилось богато, сыто и по-барски.

С монахами, повторяю, отношения сложились хорошие, но самая жизнь, постоянная работа по хозяйству, поливание огорода, копание, полка и т.п. меня совершенно удручили. Хотелось обогащать свое знание, пополнять пробелы, которые не мог заполнить факультет. В семинарии ждали уроки, хотелось побольше и поживее дать своим «бурсакам»; времени было мало; семинарская библиотека была незначительна, а на факультете было большое богатство. А тут тратилось время на хозяйствственные послушания. Вероятно, с точки зрения чистой аскетики это очень хорошо и спасительно, но я смотрел на свое монашество не только с этой стороны, но и как на творческие возможности дать максимум усилий в богословской работе при независимости от семьи, от общественных и др. обязанностей.

Один раз я даже невольно подслушал разговор нескольких монахов, работавших под окном той келии, куда мне удавалось уклониться иногда для чтения взятых с собою книг. Вышло это как-то непроизвольно. Монахи, не зная, конечно, что я в доме, коснулись в своих разговорах и меня, между прочим. Шла у них такая беззлобная сплетня-критика своих же собратий, очень миролюбивая и благожелательная.

«Да вот, о. Купреян, хороший человек, спаси его Господи, душевный человек».

«Душе-евный, что и говорить, да и не гордый».

«Да, но вот только педагогицкой деятельностью занимается. Все книжки хочет читать. А так ничего, хорошо».

Нравилось и то, что я служу по-монашески.

Конечно, Мильково не был похож на Солем или Сольшуар, или какое-нибудь Маринах. Такова ли историческая судьба Православия – не иметь своего ученого ордена и стилизоваться ради спасения и смирения под обскурантизм, не знаю. Об этом я немало говорил публично и писал, и это, особенно при близком знакомстве с католическими учеными монастырями, где и Богу хорошо молятся, и духовную жизнь ведут интенсивно, но и книги пишут, тексты сравнивают, открытия на пользу Церкви делают, мне стало ясно. Католики не отняли от монастырей право учиться и учить, и продолжают и теперь, и славно продолжают линию своих средневековых и позднейших монастырей, рассадников просвещения. У нас как-то повелось, монаху-академику не дают заниматься наукой. Его гоняют с места на место, из одной семинарии в другую на место инспектора и ректора, а потом с одной епископской кафедры на другую. И часто из хороших, образованных монахов, с задатками настоящих ученых делают плохих епархиальных архиереев. Впрочем, не место здесь распространяться на эту давно уже заезженную тему. Как бы то ни было, я из Милькова уезжал скоро, да и из Белграда поспешил в Битоль. Помнится, правда, что съездил на несколько дней на приход к о. Николаю, куда-то в Славонию.

Начался третий мой учебный год в семинарии, я освоился уже со многим, и в работе по инспекции, как помощник инспектора, и в преподавании Апологетики, Литургики и Греческого, и вдруг надо мною около Рождества собралась совершенно неожиданная туча искушения.

В декабре назначили к нам одного нового иеромонаха, русского, кончившего несколько позже меня факультет. На расспросы о том, что нового в Белграде, в частности, что говорит митрополит, он мне ответил:

«Да, в сущности, самая большая новость – Вы».

Видя мое искреннее изумление, он добавил:

«Да разве Вы ничего не знаете о Вашем предстоящем назначении?»

«Назначении? Куда?»

«Как куда? Да Вас прочат в Иерусалим на место подавшего в отставку исполняющего должность Начальника Миссии архимандрита Мелетия».

Меня буквально громом ударило. Я просил мне повторить сказанное, недоумевал, остался совершенно потерянным. Я ушел в свою комнату, но скоро даже и перестал думать об этом невероятном известии. С одной стороны, я так любил свое дело, так себя считал с ним связанным, а с другой – пост Начальника Миссии, один из виднейших постов в русской иерархии, совершенно исключительный по положению и важности, пост, на который назначали опытных архимандритов, вдруг ставится в связь со мной, только что постриженным иноком, только что рукоположенным 28-летним иеромонахом. Управлять Миссией, о которой я мало что себе представлял, кроме как что над ней тяготеет огромный долг, что там непрестающие интриги русских и греков, какое-то там Палестинское общество, иностранцы, англичане и т.д. И на это все – я, вчерашний Кернушка. Невероятно.

Я никому ничего не сказал из сослуживцев, счел, что новый коллега просто не понял что-то или ослышался. Словом, я даже перестал и думать об этом. Скажу откровенно, мне даже и не хотелось в Палестину, столь это было связано с труднейшей проблемой нашей Миссии, о чем я слышал всегда от митрополита и от других людей. Я об этом слухе забыл. Но обо мне не забыли.

Скоро пришло письмо от митрополита Антония. Жалею, если наша переписка пропала в годы войн и катастроф; пред собой его не имею, но содержание его помню прекрасно. «Друг», – начиналось оно, – и потом строчки мелкого малоразборчивого письма валились вправо, так что от рукописи владыки всегда создавалось впечатление, что он держит лист бумаги не прямо, а вкось. «Друг, что бы Ты сказал, если бы мы Вас (характерно смешение и множественного и единственного чисел) назначили в Иерусалим?..» Дальше следовало, что архиепископ Анастасий, получивший отставку старшего члена Миссии и уже несколько лет исполнявшего обязанности Начальника после ухода архимандрита Иеронима (Чернова),

выдвигает перед Синодом мою кандидатуру. Соображения в мою пользу: знает языки, воспитанный, лицейст, может импонировать иностранцам и пр. А молодость – это ничего, так как в Миссии живет сам Анастасий, который все дело хорошо знает, ведет его уже давно и будет мною руководить и меня в дело постепенно вводить.

Итак, что я думаю? Не скрывалось в письме, что члены Синода, архиереи немало смущены моей молодостью. Митрополит в письме просил ему дать скорый, но совершенно откровенный ответ.

Нечего и говорить, что этот ответ мною был дан в отрицательной форме. Как же иначе? «Ну, – подумал я, – отделался от опасности. Можно спокойно учить своих «бурсаков». Но не тут-то было. Старшие решали по-иному.

Через некое время снова письмо: Синод отстранил мою кандидатуру как слишком молодого и по годам, и по монашеству. Но архиепископ Анастасий отличался всегда настойчивостью и упорством. Он подтвердил свое желание видеть начальником именно меня. И опять те же соображения. Митрополит снова меня спрашивал, причем уже не предоставлял мне свободу выбора, а вроде как бы убеждал послушаться «Мудрейшего», как называли архиереи в своей среде архиепископа Анастасия.

Я снова отказался, умоляя меня пощадить.

Прошло еще некоторое время, и, кажется, в феврале или марте, я получаю письмо. Ясно помню, что это было воскресенье, и я только что возвратился из церкви с учениками и в профессорской столовой пил чай, стараясь согреться после долгой утрени и обедни в холодной соборной церкви.

В письме стояло черным по белому: «Вчерашнее заседание Синода ознаменовалось назначением Вас на пост Начальника Русской Миссии в Иерусалиме с возведением Тебя в сан архимандрита. Мы все решили, что таков нам подобаше Начальник Миссии». Вот почти буквальные слова митрополита. Ручаюсь за их почти дословную точность.

Я обомлел. Кинулся в русскую церковь и чуть не разревелся в алтаре. Мой добрый знакомый священник,

преподаватель нашей же семинарии, старался меня всячески утешить, но ясно было, что пути отступления отрезаны. Тем не менее я ответил митрополиту просьбой меня все же не назначать, что я не способен, что я молод и пр. В ответ: ты монах; где же послушание? Не мне, старику митрополиту, Тебя, мальчишку, упрашивать.

Ясно: делать нечего. Я пал духом. И странно, маленькая психологическая подробность; особенно меня удручало, что на меня возложат митру. Я и эстетически этого головного убора не любил, и канонически считал его несответствующим священническому сану. Жизнь на Востоке подтверждала мой вкус и взгляд: митра там есть прерогатива одних архиереев.

Еще одна подробность: вышла неприятность с епископом Иосифом. Он узнал от самого митрополита Антония, что меня, сербского клирика, преподавателя сербской семинарии, подчиненного и сербскому архиерею и сербскому Министерству, вдруг безо всякого сношения и предупреждения русский Синод, пользующийся гостеприимством сербов, но весьма расширительно толкующий это гостеприимство, взял да и назначил неподчиненного ему человека в свою церковную юрисдикцию. Оставим в стороне, насколько бесспорна каноничность этой юрисдикции. Но таков Карловацкий стиль, таков сам митрополит Антоний. Ему подчинено все Зарубежье. Он, вероятно, и не думал, при всей своей каноничности, что он действует, превышая власть свою и неглижируя церковными прерогативами другой власти.

Мне пришлось выслушать несколько горьких слов от епископа Иосифа, с которым у меня к тому времени наладились прекрасные отношения, который меня полюбил и даже наградил меня в день арх. Михаила правом ношения красного пояса, чисто сербской награды, перешедшей к ним, вероятно, от католиков. Пояс этот носится на подряснике. Вследствие моей худобы коллеги острили, что у меня нет формального основания для ношения этого отличия. На обширных «благоутробиях» дородныхprotoиереев это отличие выглядит весьма величественно.

Епископ Иосиф был огорчен именно этой беззастенчивостью наших русских архиереев. Они не входили в обсуждение, оправданы ли «вселенские» претензии карловацкого Синода или нет. Они говоривали неоднократно: «Антоний столько для нас в свое время сделал, что мы ему многое прощаем из его широких жестов». Но не могло, конечно, их не оскорблять такое хождение с их клириками. Я подчеркивал всегда, что я начал свое церковное служение в Сербской поместной Церкви. Я сербский клирик. Пострижение и посвящение меня рукой русских архиереев было изволено сербскими моими духовными начальниками. Без благословения битольского архиерея Иосифа митрополит Антоний не мог бы меня ни постричь, ни рукоположить. Он действовал по поручению сербской церковной власти. А вот в моем назначении в Иерусалим он совершенно забыл, что я по службе – сербский клирик. Митрополит Антоний так был убежден в своем правомочии во всей вселенной, что ему, вероятно, и в голову не приходило, что он допускает известную некорректность по отношению к Сербской Церкви.

Были неприятные разговоры и с чиновниками Министерства. Но надо сказать, что и епископ Иосиф, и Начальник Министерства вошли легко в мое положение и меня не задерживали.

Гораздо хуже ударили гром из ясного неба, но с другой стороны. Я написал моему авве о. Амвросию и держал его в курсе дела во время моей переписки с митрополитом Антонием. Он велел слушаться во всем Авву Антония. «Не ты этого, Купреянушка, хочешь и ищешь. Не тебе и решать. Раз святители так о тебе думают, смиряйся и слушайся». Думаю, что он был прав по существу монашеских принципов. Но не так посмотрел о. Николай.

От него вдруг получил из Лондона негодующее письмо: «Это только у нас возможно. Молокососа назначают на такой пост. Да еще не спросясь его духовных руководителей. Да еще назначают при двух бывших Начальниках Миссии, оставленных там же в Иерусалиме, которые будут его критиковать и ему мешать и т.д. и т.д.».

Я несколько недоуменно ответил вопросом, кого же мне слушаться: того ли о. Амвросия, которому он же, о. Николай, меня поручил и который за меня и ответственен, или его, меня постригавшего, но за меня не ответственного? И как же быть с волей митрополита? В ответ я получил отказ от всякого духовного общения, гневное письмо и резкие слова. Таков был по существу очень добрый о. Николай, любивший вспылить из-за мелочей, или, по выражению митрополита Антония, «жечь солому». Митрополит сам ответил о. Николаю очень решительным письмом, в котором он его поставил на место. Со временем все это ликвидировалось, и о. Николай все это забыл.

Митрополит Антоний высказывал, между прочим, по поводу этого недоразумения с о. Николаем очень здравые мысли. О. Николай предъявлял какие-то особые права старчества, духовного руководства и пр. ко мне и был очень возмущен, что его не спросили в таком важном деле. Владыка умело и умно его смирил и, так сказать, «поставил на место». Он, подметив в о. Николае эту свойственную многим священникам черту душепечительства, старчества, руководства и т.д., остроумно заметил ему, что он в наших условиях никаким старчеством по отношению ко мне не может руководствоваться.

«Живешь ты, братец, в Лондоне, на расстоянии нескольких тысяч верст от о. Киприана и никаким руководителем его быть не можешь. Принимаешь ты его ежедневное откровение помыслов? Ну, так и нечего разыгрывать сцены из жития египетских отцов-пустынников. Так-то вот».

В этом я увидел большую здравость суждений пок. митрополита. Он не задевал о. Николая по вопросу о том, что я ему и не подчинен духовно, так как это подчинение им же, о. Николаем, передано о. Амвросию, а просто напросто указал ему на несерьезность применения к моему случаю методов и правил из пустыннической практики.

В июне я сдал дела в семинарии и приехал в Белград. Съездил к митрополиту Антонию в Карловцы. Он назначил мне готовиться к возведению в архимандриты на воскресенье 25-го июня по старому стилю.

«Митра-то у тебя готова?»
«Никак нет, владыко».
«Как же так? Ну а крест архимандрichий?»
«Тоже нет».
«А мантия?»
«И мантии не имею».
«Э-эх ты, братец. Ну какой же ты архимандрит?»
«По-видимому, маргариновый, владыко».

«Да, да, да, мой милый. Впрочем, это не твоя вина. В России все это я сам, бывало, моим ставленникам дарил. Ну, как-нибудь устроимся».

В назначенный день, будучи в начале литургии самым молодым из сослужащих иереев, я на малом входе был возведен в архимандриты. Я услышал: «Святый Дух через нашу верность возводит тя в архимандриты монастыря Св. Живоначальной Троицы во Св. Граде Иерусалиме. Аксиос».

Я же чувствовал себя совершенно «анаксиос». Очень было неловко, когда на меня надели палицу, митру, крест (очень неплохо выточенный одним моим б. учеником из дерева, под стиль наших крестов с украшениями). Пришлось стать на первое место, выше о. Петра Беловидова.

После литургии на меня возложили мантию, и митрополит сказал мне удивительное слово при вручении жезла. Оно как бы предначертывало весь мой путь на Востоке. Митрополит Антоний в библейских образах призывал меня к служению вселенскому, к тому, что Православие не ограничивается одной Россией. Тогда это было для меня, еще немало зараженного национализмом, очень полезно.

При этом имело место курьезное происшествие. Владыка, опираясь на свой жезл, говорит мне слово с амвона. Я стою перед ним внизу. Мальчик держит за митрополитом второй посох для меня. Заканчивая свое поучение, митрополит обратился ко мне:

«Прими сей посох и паси свою паству с любовью и состраданием, с верностью и твердостью...»

Я в смущении протягиваю руку к жезлу, на который опирается митрополит.

«Нет, нет, нет, мой милый, этот тебе еще рано. Это мой посох, посох митрополита Киевского и Галицкого. Может быть, когда-нибудь и его ты будешь держать, но пока еще рановато».

Я почувствовал, что краска залила мое лицо. Я готов был провалиться сквозь землю. Но владыка, никогда ничем не смущающийся, продолжает свое слово дольше, или, точнее, заканчивает его словами:

«А вы, благочестивые христиане, примите благословение новопоставленного архимандрита и в его деснице облобызайте святой Град Иерусалим».

Начались мои мучительные ожидания визы в Палестину. Были пущены в ход все связи, и из Белграда, и из Иерусалима; от митрополита Антония и от архиепископа Анастасия писались письма и петиции в Английское Министерство иностранных дел, в Министерство колоний, Архиепископу Кентерберийскому, Принцессе Виктории и кому-то еще. Я ждал до начала октября. Виза была мне дана как «иммигранту в Палестину по категории А V.», что дается специально духовным лицам.

Эти месяцы ожиданий были поистине болезненны для меня. Виза не приходила, а время проходило без определенных занятий. От школьной своей работы я был оторван; в конце августа уже начиналась работа в семинарии и такая именно работа, которую я любил: прием новых «бурсаков», разные усовершенствования в интернате, устройство классов, трапезной и спален на зиму и т.д. В Белграде мне не хотелось ни за что определенное приниматься; от книжной работы я себя чувствовал оторванным. Да мне даже казалось, что книжная работа для меня навсегда кончена, так как я осужден на административную работу по начальствованию над Миссией. Об этой последней я знал очень мало, почти ничего. Ознакомиться с ее историей было невозможно, так как книг, которые хотелось иметь или прочитать, не было. Я не мог найти известную мне тогда только понаслышке знаменитую «Книгу бытия моего» епископа Порфирия Успенского. Об о. Антонине, который мне потом в Иерусалиме так много дал всей своей деятельностью и памятниками о ней, я имел более чем

туманное представление. Во всяком случае, я не знал, что через пять лет я напишу о нем книгу.

По совести говоря, когда вспоминаю теперь эти месяцы ожидания, я даже и не хотел ехать в Палестину. Назначение меня туда мне казалось покушением на мою любимую школьную работу. А Миссия, ее долги, призрак административной работы, запутанность отношений с греками, с Палестинским обществом представлялись мне очень мрачно. Я предполагал, и в этом я не ошибся, что самой Палестины, библейского Иерусалима, тишины галилейских пейзажей и прочее, мне не видать. Я знал, что меня посылают на этот очень видный и когда-то завидный пост в русской иерархии, а теперь на весьма тяжелое послушание, чтобы выплачивать какие-то долги, сделанные еще до войны 1914 г. пок. начальником, архимандритом Леонидом, чтобы налаживать натянутые отношения с Палестинским обществом, чтобы распутывать какие-то затруднения с греками, т.е. с Патриархией, чтобы лавировать среди каких-то монахинь и оставшихся после войны паломниц, так называемых «матушек» и т.д. и т.д. И все это должен делать я, 29-летний молодой человек, едва посвященный в священный сан, без опыта Порфирия, Антонина и Леонида, наших довоенных начальников и, что самое главное, без того ореола Российской Империи и ее поддержки. Словом, посыпать меня бежать со связанными ногами и с завязанными глазами. Настроение мое было невеселое. Епископ Гавриил прями пророчествовал мне, что я еду на Голгофу, причем не

на ту настоящую, трепетную и божественную Голгофу, а на Голгофу административную. Меня, кроме того, пугало присутствие высокоторжественного, парчево-недоступного архиепископа Анастасия, который в сущности меня туда и вызывал. Я был в мрачном расположении.

В эти месяцы ожидания я частенько обращался к митрополиту за разъяснениями о моей будущей деятельности в Святой Земле. Мне были дороги как личное мнение самого владыки, так и его впечатление человека, четыре года перед тем бывшего в Иерусалиме и знающего положение дел Миссии.

Но, к моему большому разочарованию, я не получил от него ответа на интересовавшие меня вопросы. Финансовое положение Миссии он знал плохо. Что касается вопроса о возможности продажи некоторых наших владений, не имеющих, разумеется, исторического или хозяйственного значения, он стоял на точке зрения готовности продать то, что было нам лишним. В противоположность ему архиепископ Анастасий настаивал, как он сам говорил, «на охранении русского достояния». В отношении греческой Патриархии митрополит не разделял русского шовинистического и задирчивого поведения наших последних до войны начальников Миссии. Митрополит был филэллин; это мне всегда импонировало и в моем преклонении перед всем греческим, в моей любви к местному греческому элементу, в моем преклонении перед Патриархией я и тогда, и после моего отъезда имел в его лице горячего сторонника. Что же касается Палестинского Общества, владыка переоценивал его значение и не видел его к нам, к Миссии, враждебного отношения. И странно: в этом весь Антоний. Так как во главе Палестинского Общества стоял князь А.А. Ширинский-Шихматов, один из монархических руководящих деятелей, а в Иерусалиме сидели чиновники Палестинского Общества, тоже в большинстве правых убеждений, то митрополит не хотел и слышать ничего плохого о них. И даже, когда я уже вернулся из Палестины и многими фактами доказывал враждебность «палестинцев» по отношению к нам, к Миссии, владыка с недоверием относился к моим рассказам. Он не мог видеть в них врагов, коль скоро они монархисты.

Когда я уезжал из Белграда, то в день отъезда был после литургии (это было в воскресенье) у митрополита. Там присутствовал епископ Гавриил (Чепур), и я помню, как оба святителя меня напутствовали, благословляли и благожелали. Митрополит так и простился со мною, взяв с меня обещание, что я буду обо всем писать, и всегда он придет мне на помощь, буде таковая понадобится.

Я его, помнится, спрашивал, как мне себя вести с разными лицами там, в Иерусалиме. Владыка очень настаивал на развитии и укреплении моих филэллинских чувств,

рекомендовал войти в возможно более близкие отношения с Патриархией, в частности с архимандритом Каллистом (Меллиара), его учеником по Московской Духовной Академии. Он его очень хвалил и уважал, несмотря на заведомую его близость к архиепископу Хрисостому Афинскому и патриарху Александрийскому Мелетию (Метаксакис). В отношении архиепископа Анастасия митрополит предвидел возможные трения и затруднения, зная всю непреклонность Мудрейшего в известных вопросах. Конечно, ни митрополит, ни я, ни сам Мудрейший не могли предвидеть, насколько мне будет трудно в Палестине и сколь скоро я буду проситься в отставку с этого поста. Знаю, что я моим уходом поставил и митрополита и всех вообще наших архиереев в весьма нелегкое положение. Но, сколь я об этом теперь часто ни думаю, сколь ни каюсь в недостатке послушания и выносливости, я знаю, что иначе быть не могло.

Митрополит со своей стороны тоже не думал, что архиепископ Анастасий сразу же поставит меня в такое положение, что мое назначение в Миссию заранее будет предопределено как весьма краткосрочное. Я лишний раз оценил такт и прогнозы митрополита, человека вообще не очень-то прозорливого, а еще более часто нетактичного. Но об этом не стоит вспоминать.

Помнится, спросил я владыку, как мне поступить при проезде через Афины и через Александрию, надо ли мне являться тамошним первоиерархам. Митрополит поморщился, состроил гримасу, снизу вверх прогладил свою бороду, сказал нечто весьма нелестное и малоцензурное про этих святителей, особливо про патриарха Мелетия, и не настаивал на моем визите к ним. Их обоих он недолюбливал за «неотеризм», венизелизм, новый стиль и пр. Я все же решил визиты сделать, тем более что на этом настаивали в Афинах русский священник, протоиерей Павел Крахмалев, а в Александрии наш б. консул А.М. Петров. В результате архиепископ Хрисостом принял меня совсем неплохо, справлялся о здоровье митрополита Антония, проявил даже некую сердечность. (Потом, в 1932 г., моя с ним встреча в его митрополии была еще более радушной и вполне

благожелательной.) Патриарх Мелетий встретил меня чрезвычайно надменно, сам все время стоял и мне не предложил сесть, не угостил ни кофеем, ни «глико», и пробормотал что-то очень прохладное об Антонии. А когда-то, в 1920 г., они были почти друзьями.

Со времени переезда в Иерусалим мои отношения с митрополитом естественно ослабели. Переписка, в начале интенсивная, стала делаться все более редкой: на расстоянии и на бумаге не объяснить всего того, что гложет душу и беспокоит ум. Научался многое переживать в себе; кое-что было предметом бесед с б. начальником Миссии архимандритом Иеронимом (Черновым). Этого последнего митрополит откровенно недолюбливал за его неудачное начальствование Миссией в годы 1923/24. Не более удачным было и мое управление. Да и что мог сделать в том положении почти мальчик в 29 лет, связанный к тому же входящим во все мелочи архиепископом Анастасием?

Особенно, конечно, наши отношения должны были охладиться с тех пор, как я подал прошение об отставке и при нежелании архиепископа Анастасия давать ему ход продолжал подавать одно за другим эти прошения. Когда в 1930 г. Палестину посетили о. П. Беловидов и моя сестра с мужем, которые все рассказали митрополиту по возвращении, ему стало многое ясным и он упростил «киприановскую проблему» там: «Ах не сошелся характером с Мудрейшим. Я так и знал. Ничего не поделать». Когда все же под влиянием писем архиепископа Анастасия митрополит, хотя и обещал мое прошение уважить, но все же предлагал компромиссное решение «пообождать» и подумать, а я ответил решительным отказом что бы то ни было ждать и передумывать, последовал ответ: «И чего ты нервничаешь, как истерическая замоскворецкая купчиха? Успокойся, прошение твое уважили». Пришла и знаменательная телеграмма об отставке, которая решила все.

По возвращении в Европу отношения наши, конечно, заметно охладели. Особенно было горько митрополиту, что я во всех прошениях об отставке просил об увольнении меня не

только с занимаемой должности, но и о выдаче мне канонической отпускной грамоты в юрисдикцию Сербского патриархата. С юрисдикцией митрополита Антония я решительно порвал. А так как между ним и митрополитом Евлогием были тогда знаменитые принципиальные расхождения и все определялось словом «раскол», то я еще больше отдалялся от моего кумира – Антония. Это было вдвойне больно. Его я не переставал любить и чтить, но всю «антониевщину», все «карловацкое» окружение не принимало мое сердце. С русскими архиереями и в русских церквях я не служил. В «мою» белградскую церковь, в которой я был рукоположен, я ходил ко всенощной и к обедне, но никогда не сослужил, пока не произошло знаменитое «примирение»

двух митрополитов ²⁴. На вопрос, почему я не служу, я отвечал, что не могу говорить «Христос посреде нас» и исповедывать свое с «карловчанами» единомыслие, коль скоро мы на вопрос заграничного расхождения смотрим так по-разному.

У митрополита в Карловцах, в случае моего приезда к патриарху Варнаве, я бывал, пил чай, беседовал о разных второстепенных вопросах, но душа наших прежних разговоров безвозвратно отлетела. Это были официальные встречи, а общего языка почти уже не было.

Меня сильно коробило все более крайнее политикачество карловчан, их «кириллизм», их невероятное для Антония провинциальное отношение к делам Русской Церкви. И куда, казалось бы, девалась вселенскость Антония, его широта, его почти радикализм церковный в его годы общения с епископом Михаилом (Грибановским)?

Митрополита во мне коробило мое полное отвращение от всякой политики: и правой и левой; мое все большее сближение с сербской иерархией; мой отказ от предложенного мне карловчанами дважды архиерейства; мой отказ в 1931 году осенью принять вновь начальствование в Иерусалиме, предложенное мне приехавшим на собор архиепископом Анастасием; моя все большая близость с моими прежними друзьями в Париже, а потом и разговоры о моем возможном

переезде в Париж; мое, наконец, увлечение личностью архимандрита Антонина (Капустина) и работа в 1932/33 гг. над его биографией.

В этом тоже характерен цельный, негибкий и упрямый в своих раз принятых взглядах Антоний. Он почему-то поверил тем гнусным слухам, которые сплетались вокруг личности о. Антонина и о которых я достаточно говорю в моей книге о нем. Митрополита раздражало мое скептическое отношение к этим порочащим доброе имя архимандрита Антонина сплетням.

«Да, да, да, мой милый, вот вы все про Антонина говорите. А он был развратник. У него было шесть незаконных детей».

Я отвергал это с горячностью и с убеждением.

Я поднес митрополиту мою книгу, и он прочитал ее, кажется, с удовольствием. Во всяком случае, – я это знаю, – он оценил мое филэллинство, мою любовь к Иерусалиму, к духовному сословию. Но все же он остался при своем мнении о небезупречной нравственности о. Антонина.

«Да, да, да, мой милый, вы это доказываете, но все-таки я с вами не согласен».

«Владыко, но ведь так легко опорочить имя человека. Это ведь отвратительная сплетня, созданная врагами о. Антонина».

И вдруг митрополит совершенно неожиданно для меня заявляет: «Да, вы знаете, мне говорил про о. Антонина близко его знавший Ал. Ник. Попов и заверил меня, что он был безупречно чистый в половом отношении человек».

«Ну, вот видите, владыко», – обрадовался я.

«Да, может быть, вы и правы», – но потом, помолчав, он вдруг как-то недобро улыбнулся и ответил. – «Впрочем, у него было шесть человек незаконных детей».

Я спорить перестал. Разубедить человека в раз созданном себе убеждении невозможно. Точно так же, несмотря на все убеждения хорошо знавших Влад. Соловьева людей, митрополит неизменно всегда отвечал одно и то же: «Да, но он был алкоголик, бабник и мистик». И потом, помолчав, добавлял: «...и сифилитик...»

В этом упрямстве весь митрополит Антоний. Но так же упрямо он верил даже и скомпроментировавшим себя людям,

лишь бы они умели хоть раз втереться в его доверие.

Владыка заметно старел. Труднее становилось стоять, ходить, служить. Появлялись какие-то непонятные симптомы. Одни врачи говорили о какой-то болезни, другие предполагали повреждения в позвоночнике, допытывались, не было ли в детстве или юности какого-нибудь падения или ушиба. Митрополит, который всегда говоривал: «Презираю духовных лиц, которые празднуют свои юбилеи и ездят по курортам лечиться», и сам должен был не раз поехать с Федей на какой-то курорт в Словению. Но годы делали свое дело. Митрополиту становилось все труднее ходить и стоять. Но что всего хуже, стали появляться симптомы некоего старческого ослабления памяти; он стал иногда даже заговариваться. Раз как-то за несколько месяцев до смерти он мне предложил архиерейство в... Новой Зеландии. Неоднократно при встрече спрашивал меня, когда я поеду в Палестину и получил ли я визу. А раз как-то сказал: «Вот я скоро помру, и после моей смерти все пропадет, все вверх дном станет. Без меня все развалится».

Это было несказанно грустно слышать. Грустен всегда процесс одряхления и ослабления. Особенно это было горько с Антонием, с таким большим человеком, а для меня – моим кумиром. Я любил молча любоваться на его великолепную голову, когда он сидел у себя, на его улыбку умных глаз, на его иногда еще ясные слова и словечки. Но старость брала свое. Антоний уходил. Переворачивалась еще новая историческая страница. Заканчивался какой-то том истории Русской Церкви.

В 1936 г. я уходил из сербской юрисдикции в Париж. Это произошло небезболезненно. И мой епархиальный архиерей, преосв. Николай (Велимирович), и сам патриарх Варнава, предлагавший мне быть его викарием, всячески меня отговаривали от перехода к митрополиту Евлогию, а главное, конечно, к вселенскому патриарху, но дело было крепко решено. Я еще один раз своевольничал в жизни. До сознания митрополита Антония дошло ли это, не знаю. Но мы с ним не говорили ни разу на эту тему. Я его видел еще летом 1936 г. В июне-июле состоялось решение Сербского Синода о моем переходе к митрополиту Евлогию. В августе поехал в Битоль

сдать мои дела, запаковать книги моей библиотеки, проститься с моей русской церковной общиной. 11-го августа (29 июля) я возвращался в Земун. На белградском вокзале у какого-то русского беженца я увидел номер «Политики» с большим аншлагом: «Умро митрополит Антоние».

У меня дрогнули ноги. Екнуло сердце. Через мозг прошла мысль о чем-то безусловно непоправимом. Итак, нет в живых Антония. Того самого Антония, кумира моей молодости, непрекращаемого в течение долгих лет авторитета церковных и богословских вопросов я больше уже никогда не услышу. Во мгновение ока промелькнула вся моя эмигрантская жизнь, все мое церковное созревание, мое духовное образование, монашество, Битоль, Иерусалим – словом, вся неповторимая полоса жизни... Сразу стало стыдно за все ему причиненные огорчения, за мое нетерпение, непонимание его, непокорность... Но я не плакал, как-то с годами высыхает источник слез.

Я пришел в Белградскую русскую церковь днем, чтобы совершить первую панихиду. Собралось немало народу. По чину я имел право, как старейший клирик, служить. (К этому времени, после состоявшегося «примирения» двух митрополитов, я уже служил несколько раз в белградской церкви.) Один из священников, заменявший настоятеля, не позволил мне служить. С болью, но я проглотил эту обиду. В этой церкви, где на меня митрополит Антоний возложил руки, я не смог совершить поминовения его.

Вечером было начато служение в сербском кафедральном соборе. Я прибыл туда заранее. Прибыл туда и митрополит Анастасий. Подъехал похоронный автомобиль из Карловцев, привезший тело. Я с архимандритом Феодосием (Федей) вынес вместе с другими священниками очень массивный металлический гроб из автомобиля. Поставили его на катафалк посреди соборного храма. Отслужили заупокойную всенощную. После этого началось чтение Евангелия. Первым начал читать иеромонах Хрисостом, молодой секретарь сербского Синода. Он читал недолго. Вторым читал я. Меня тоже быстро сменили. Была тихая, недушная ночь. Змеились в Саве и Дунае огоньки пароходов. Темнел Калемегдан. Я ясно помню, как я переживал

незаполнимую пустоту от ухода этого человека. Я еще лишний раз почувствовал, как я быстро духовно сиротею: епископ Николай (Карпов), архимандрит Амвросий, епископ Гавриил (Чепур), теперь митрополит Антоний... За ними где-то и когда в очереди встану и я. Но пока что надо жить, еще идти и много, много в жизни ошибаться.

Из провинции съехалось на погребение митрополита много священников. Приехал даже из Хопова о. Алексий Нелюбов. Многие священники сербы также пришла на отпевание. Покуда был жив митрополит, его и осуждали и поругивали за его прямолинейность, за словечки, за противление всякому модернизму, до которого было немало охотников среди сербских священников и даже архиереев, сторонников нового стиля, второбрачия клириков, ослабления поста и вообще всякой церковной дисциплины. Это теперь все было забыто, пришли «на погреб великого Антония». Сам слышал, как один из либеральствующих сербских попиков, кандидат Киевской Академии, говорил в те дни, что как ни утомительны были службы, а «Антоний- то заслужил. За Антония помолиться долг всякого серба и вообще славянина».

Отпевание было невероятно длительно. Служил патриарх Варнава в сослужении шести архиереев, среди коих был и митрополит Анастасий, и свыше 20 священников. Патриарх вошел в храм перед литургией в 8 часов утра, а тело митрополита вынесли в 4 часа пополудни. Не было ничего пропущено из чина отпевания; пело два хора, большой хор, сборный из всех церквей под управлением Маслова, и особый священнический и студенческий, в котором участвовали и богословы, и профессора семинарий, и вообще всякого рода любители. Пели с канонархами, удвояли, утроили, словом, уставщики дали волю себе. Народу было так много в храме, что даже при желании упасть в обморок это было бы невозможно; некуда было падать.

Хорошее, хотя и непомерно длинное слово сказал митрополит Анастасий. Великолепен был патриарх Варнава со своей ассирийской бородой, в богатейшем облачении. Многие плакали. Кругом катафалка стояли священники; по бокам гроба

— иподиаконы с дикириями и трикириями. Все это молодые «студентики», Володи, Миши, Сережи. Так и думал я тогда: сам Алеша Храповицкий, увлекавшийся благочестием, прислуживавший на архиерейских литургиях митрополита Исидора, потом сам монах и архиерей, совершенно феноменальный молодой ректор двух Академий, пробудивший студенчество, возродивший школу, растолкавший заплесневевших в своем позитивизме и скепсисе профессоров, знаменитый «Антоний волынский», завлекатель душ в монашество, смелый отрицатель всякого схоластицизма в богословии, моралист в доктринах, учитель сострадательной любви в пастырстве, враг и латинства и протестантизма, барин в лучшем смысле этого слова и в то же время глубоко презиравший «всяких аристократишек», которые становятся на колени, любят акафисты и молебны, мешают благочестие с распущенностью, Антоний крайний радикал в церковности и враг всякой революционности и ненавистник либерализма, — ну, словом, вот этот мой кумир в течение долгих лет, этот Антоний теперь в этом тяжелом свинцовом гробу. Так я его и не видел мертвым, не полюбовался выражением его прекрасного спокойного усопшего лица. Этот классик во всех отношениях, Антоний, этот носитель церковной красоты безо всякой красоты и сусальности лежит теперь в гробу, от которого нет-нет да и дохнет волна тленного запаха, смешивающегося с благовонием кадил и ароматом восковых свечей.

Неумолима волнообразная непрерывность истории. Сам когда-то он у ног какого-то своего Гамалиила, а потом и сам ставший Гамалиилом для многих, Антоний со своими ректорскими чаепитиями в Сергиевом Посаде и в Казани. Кругом него «студентики» слушают, разиня рот, его толкования Писания, рассказы про профессоров, шуточки о разных архиереях из вдовых батюшек, не умеющих уставно служить, или шипящий и разглаживающий снизу вверх свою бороду с насмешкой над «интеллигенцией, которая и кадило-то от митрополита не умеет отличить». И я сам когда-то умиленно и безоговорочно слушавший эти Антониевские афоризмы, влюбленный в него по уши, теперь вот стою у гроба своего

Аввы, Великого Аввы Антония, Аввы стольких наших архиереев и монахов. Уходит он в путь всея земли, и мы должны теперь одни, сами, своим умом жить, спасаться, решать свои задачи, как-то слабовато, а может быть, и бездарно закончить свою жизнь, когда и над нами услышится это «Волною морскою», и эти неповторимые икосы священнического отпевания... Многое передумано было в эти дни погребения Антония.

Процессия шла через весь город до русской церкви, где совершили литию, а потом на Новое кладбище, где под Иверской часовней погребли митрополита.

Ушел он, как уходили и многие до него, и судьба его ничем не отлична от судеб других, и более, и менее его знаменитых людей. Первое время все пожалеют, кое-кто поплачет, некоторые постараются «сохранить объективность и не осудить» за ошибки. Но скоро забудут. Это удел наших больших людей. Мы, русские, по природе нигилисты, не любящие своего прошлого, не помнящие своего родства. Напишут ли когда-нибудь настоящую биографию митрополита Антония, не так, как лакейски и угоднически, не критически и не исторически пишут в юбилейных сборниках и говорят в надгробных речах? А настоящую солидную диссертацию об Антонии, «книгу его бытия», драму всей его жизни. Почти уверен, что не напишут. Если наш великий Филарет остался до сих пор без биографии, дельно и исторично написанной, если нет у нас настоящих (без панегириков) жизнеописаний многих наших ученых и архиереев, то не в наше глухое и некультурное время ждать биографии Антония Храповицкого. Может быть, и лучше, что не напишут. Ибо либералы будут ругать за то второстепенное и совершенно случайное, что бывало у него, как и всякого человека теневого. А правые и «почитатели» разведут такой елей и подхалимство, что и читать никто не станет, да и действительности соответствовать не будет. Поэтому, напрягая теперь свою благодарную, но не лишенную и критицизма память, хочу суммировать то немногое, что вспомнилось, подбить какие-то итоги тому впечатлению, которое оставил на меня митрополит Антоний и не мог не оставить на каждого человека.

Если бы неумолимо скромный на время критик потребовал бы дать характеристику ушедшего митрополита в одном и только одном слове, то я бы без колебания сказал с полным сознанием ответственности за это слово: «Антоний – это церковность».

Конечно, бывают батюшки рационалисты, богословы скептики, архиереи карьеристы, может быть, нетрудно найти даже неверующего священника, «ради хлеба куса» совершающего свое «служение». Но, безусловно, очень и очень много можно среди духовенства найти людей малоцерковных. Я имею в виду, иными словами, и исполнительного, но формального священника; и верующего, но «постольку поскольку»; и убежденного в истинности христианства, но какого-то опресневшего, обеспложенного, внецерковного христианства. Это священники, которые, вступая в клир, прежде всего думают о реформах и считают, что их только не хватало, чтобы переустроить все там, где каждая «мелочь» имеет за собою многовековую давность, где за каждую традицию церковной жизни и устройства было пролито море крови, реки слез и потоки защитительных и обличительных речей. Это те, которые, по мудрому слову Самарина, «к церкви относятся» или «в церкви числятся», но не живут Церковью. Церковь вне их, а они вне Ее.

Не таков именно был Антоний. Церковь, ее традиции, уставы, быть, каноны, слова, выражения, догматы, вероопределения и т.п. были его сущностью, или, говоря языком богословским, его «усией».

В этом-то, может быть, и состоит одно из самых сильных средств антониевского очарования. Ведь надо только вспомнить, когда появился Антоний на горизонте Русской Церкви и богословской школы, и чем тогда была эта школа в лице своих преподавателей и питомцев, по крайней мере большого их числа.

Ведь это были только что отошедшие семидесятые годы, с их позитивизмом, с владычеством Дарвина, Сеченова, Ренана, Добролюбова и Щедрина над русскими душами и умами. Из Семинарий и Академий валом валили их питомцы в Ветеринарные и Межевые Институты, на медицинские и

естественные факультеты, или уж, в крайнем случае, в акцизные чиновники. Создавали тот тип бывших учеников духовной школы, который Антоний презрительно и зло называл «Ракитиными» и «серым духовенством» (т.е. ни черное ни белое) и «пиджачниками». В Академиях шипели и ехидничали полуверующие рационалисты, начитавшиеся левой протестантской дешевки и отрицавшие почти всю церковную традицию. Каноны были «византийской трухой»; сомневались во многом, что было свято и традиционно. И, что самое главное, это то, что утерялся дух самой церковности. Таинства назывались обрядами. Красоты и смысла богослужебной символики и всего литургического богословия просто не знали и не понимали. В монашество никто почти в Академиях не постригался. Архиерейский состав комплектовался в подавляющем числе из вдовых батюшек. И когда в Академиях Киевской и Петербургской впервые постриглись после долгого перерыва два студента, Окнов и Грибановский, то стали говорить, что Питирим Окнов прорубил окно в монашество, а после Михаила Грибановского монахи пошли расти, как грибы. Алеша Храповицкий стал одним из первых таких грибов. И он со свежестью несеминарской рутины, с задором молодости, с огнем своего вдохновения и таланта начал в Московской Академии, а потом и в Казанской утверждать то, что Лебедев и Евгений Голубинский ядовито, с усмешечкой разочарованного в своем прошлом бурсака разлагали и отрицали. Антоний стал о Церкви учить не как о каком-то учреждении, не консисторски, не схоластически-формально, а живо провещал, или, точнее, как гром прогремел о том, что Церковь – это жизнь в Духе Святом, в таинствах, что Церковь евхаристична, а Евхаристия церковна, потому что она только в Церкви. Для Антония Церковь была все, от чего получает свое бытие и осмысление остальная жизнь. Вне Церкви вообще ничего не имеет оправдания и смысла. Словом, Антоний, 38-летний ректор, вдохнул в омертвевшую от синодальной рутины и филаретовской опеки школу новую веру в примат Церкви. Он вернул засыхавшей в схоластике школе ее жизнь, ее дух и ее смысл. И школа сразу же ожила в этой вере в

васились во многом, что было свято и традиционно. И, что самое главное, это то, что утерялся дух самой церковности. Таинства назывались обрядами. Красоты и смысла богослужебной символики и всего литургического богословия просто не знали и не понимали. В монашество никто почти в Академиях не постригался. Архиерейский состав комплектовался в подавляющем числе из вдовых батюшек. И когда в Академиях Киевской и Петербургской впервые постриглись после долгого перерыва два студента, Окнов и Грибановский, то стали говорить, что Питирим Окнов прорубил окно в монашество, а после Михаила Грибановского монахи пошли расти, как грибы. Алеша Храповицкий стал одним из первых таких грибов. И он со свежестью несеминарской рутины, с задором молодости, с огнем своего вдохновения и таланта начал в Московской Академии, а потом и в Казанской утверждать то, что Лебедев и Евгений Голубинский ядовито, с усмешечкой разочарованного в своем прошлом бурсака разлагали и отрицали. Антоний стал о Церкви учить не как о каком-то учреждении, не консисторски, не схоластически-формально, а живо провещал, или, точнее, как гром прогремел о том, что Церковь – это жизнь в Духе Святом, в таинствах, что Церковь евхаристична, а Евхаристия церковна, потому что она только в Церкви. Для Антония Церковь была все, от чего получает свое бытие и осмысление остальная жизнь. Вне Церкви вообще ничего не имеет оправдания и смысла. Словом, Антоний, 38-летний ректор, вдохнул в омертвевшую от синодальной рутины и филаретовской опеки школу новую веру в примат Церкви. Он вернул засыхавшей в схоластике школе ее жизнь, ее дух и ее смысл. И школа сразу же ожила в этой вере в

Церковь, и самая церковность забилась полнокровным ключом в стенах казенной школы. Вот именно казенщины, формализма, синодальщины, филаретовщины (в ее отрицательном аспекте) не было у молодого архимандрита Антония, ставшего через несколько лет Великим Аввой нашей духовной школы.

Это означало у него, и отсюда вытекала его безусловная цельность и целостность. У него не было и не могло быть раздвоенности личности, сознания, жизни. Его аксиология была только церковной, критериология только церковной, его действия, направление мыслей, взгляд на события только церковные. Он не мог думать или сказать, что поскольку это расценивается с точки зрения евангельской, то это так, а поскольку оно рассматривается с точки зрения истории, современности, прогресса и т.п., это не так. Если что-либо, будь то тюбингенская критика, или конституционный либерализм, или распущенность нравов, или экуменическое движение и христианское студенческое движение не могло быть приведено в полное и безусловное согласие с канонами соборов или правилами церковного устава, это было митрополиту неприемлемо, или, еще правильнее, ненужно и скучно.

Скажут: это – узость, это – неисторичность, это – нечуткость к требованиям момента. Верно! Но также верно и то, что это традиционно, это освящено веками, это вошло в мировоззрение Великого Аввы.

В каком-то смысле этим приматом церковности во всем объясняется и пресловутое реакционерство, черносотенство, правизна митрополита Антония. Что и говорить: он себя связал с разными подозрительными типами, именно типами из крайне-правых организаций, около него вертелись какие-то мрачные субъекты из Союза Русского Народа, он был близок к профессору Б. Никольскому из Русского Собрания, укрывал у себя в Почаевской лавре убийцу Иоллоса (или Герценштейна, не помню точно), не без его ведома происходил процесс Бейлиса, что, правда, не мешало ему быть очень большим защитником еврейско-бблейского мира, еврейского языка, тонким ценителем пророков и прочее. Митрополит Антоний слыл за крайне правого, а при близости к нему небезызвестного

архимандрита Виталия в Почаеве создавался центр того отвратительного квасного «патриотизма» истинно русских людей, от которого в ужасе шарахались все, даже наиболее благонамеренное, но чуждое этого искусственного «народничества».

Но дело не в этих уродливых феноменах политических движений, а в том, что было подлинно антониевское, что никогда не в силах были понять эти «молодцы» из чайных Союза Русского Народа. Антоний жил своей глубоко продуманной, правда уже отжившей, славянофильской наивной верою в православное царство как неотъемлемую часть всей его православной системы философии. А «молодцы» прикрывались удобным им авторитетом Антония, проповедника, идеолога, архиерея, богослова, и под этой вывеской устраивали свои мелкие делишки, делали в сферах свою небезупречную карьеру, с которой Антоний не имел ничего общего.

У митрополита была своя православная вера в царство и царя, вера чисто византийская, теократическая. Царь не был для него политической формулой, как для всех бюрократов, политиков или просто «союзников». Царь – это был догмат веры. Это была часть его вероисповедного символа. Он не царю как политическому принципу кланялся. Он мог очень резко сказать о царе. «Вот в Основных Законах» царь назван главою Церкви. Глупости! Божия Матерь именуется в акафисте только столпом Церкви, а как же царь может быть главою? Глава – Иисус Христос. Царь – это в Церкви вроде станового пристава». (Это я своими ушами слышал от владыки.) Но царь нужен для защиты Церкви от всякой «сволочи», от революционных профессоришек, от кадетской дряни. (Тоже буквально слова митрополита.) В данном случае митрополит смотрел на царя в Церкви как, следуя языку императоров Ангелов, на «эпистимонарха», на благочинного в Церкви. Он понимал, что только царь, и при этом только самодержавный, а никак не конституционный царь, может быть носителем священной, абсолютной, перед Единым Богом ответственной власти, власти богопомазанной, богоизбранной, боговенчанной. Он ясно понимал, что сакральные обряды благословения венчанного

Царя совершенно неприменимы к Президенту Республики или к какому-то выборному «Главе Правительства». Он понимал, что Царьград, как завет Русского Царства, совсем ничего не имеет общего с политическим и дипломатическим вопросом о «Проливах», за которые почему-то боролся Милюков.

Как-то я был несказанно поражен, что эксмарксист о. С. Булгаков, кадетский профессор и интеллигент, прочитал нам в кругу счастливых избранников свой диалог «Ночью», в котором прославлял идею православного русского Царя, идею религиозно-обоснованную. Это было, в сущности, ничем не отличное от Антония прославление царства, но прославление религиозное, церковное.

А в своих автобиографических заметках, лучшем, может быть, из всего того, что о. Сергием написано, он сам признается, что он «каким-то внутренним актом, постижением, силу которого дало ему православие», изменил свое революционное отношение к царской власти. Он говорит о «божественной идее власти Божией милостью, а не народным произволением». Он, Булгаков, полюбил царя «любовью до гроба, которою обещаются перед алтарем жених и невеста». «Революция была Булгакову постыла и отвратительна». Он, этот бывший революционер, понял, что не Временному Правительству говорить о Константинополе и о Проливах, что этого была достойна только царская Россия. Странно: сошлись в таком вопросе, на таком остром лезвии «реакционер» Антоний и «революционер» Булгаков.

Царь и монархия для митрополита именно и не были вопросами политическими, а чисто религиозными. Он и не сопоставлял и не мог сопоставлять монархию с другими обликами государственного устройства, потому что все остальное было политическое, человеческое, государственно-правовое, а монархия почивала на библейской теократии, на священноначалии. Потому-то политика и была ему чужда. Царь был религиозно оправдан, а идеологию конституционного либерализма, кадетской партии, республики никак нельзя было религиозно канонизировать. Отсюда и известный антониевский

афоризм: «Терпеть не могу слов, кончающихся на «уция»: конституция, революция, проституция...»

И в то же самое время он возмущался безверием монархической аристократии, равнодушием некоторых Высочайших Особ к вопросам религии и Церкви, склонностью их к спиритизму, масонству, оккультизму. Он поэтому недолюбливал Александра I за «мистицизм» и баронессу Крюденер, порицал распущенность нравов на верхах, преклонялся перед крепостью староверов и купцов. Его возмущал современный чин коронования, сильно измененный по сравнению с византийскими и древнерусскими подлинниками, чин, в котором митрополиты, подносящие Царю и Царице запивку и рукоумывало, унижены до прислужнического уровня. Он любил Александра III за его семейно-патриархальное православное направление, критиковал Царя-Освободителя, конечно, негодовал против Петра Великого. Каждого Царя и монархиста он расценивал прежде всего с точки зрения его верности православному быту и чистоте нравственности, его правоверия.

Не знаю, кого он больше недолюбливал — либеральствующих профессоров, носителей теоретического атеизма, или правых аристократов, но жизнью своею доказывающих свое практическое нехристианство, свой практический атеизм. Он всякого и все расценивал с точки зрения его церковности. Это был его камертон и его норма.

В монархизме митрополита Антония, повторяю, не столько было политических и государственно-правовых расчетов, как богословски-церковного подхода. Царь занимал у него место не столько в государственной иерархии, сколько в церковном чине. Владыка думал последовательно византийски; я так и вижу его во времена какого-нибудь патриарха константинопольского Палиевкта с его идеологией теократического монархизма. Митрополит Антоний мог бы отстаивать и все византийские чины поставления эпарха города, освящения того или иного момента государственной жизни, благословения Церковью каких-нибудь государственных актов, коль скоро эти акты исходят от ПРАВОСЛАВНОГО царя и служат на пользу

Православной Церкви. Не знаю, есть ли это огосударствление Церкви и цезарепапизм, или оцерковление власти царя, просветление правового строя. Он, между прочим, очень радовался тому, что нашумевшие в первые годы эмиграции «евразийцы» настаивали на строительстве государства на «правде», а не на «праве». Он ведь был славянофилом, совершенно запоздавшим в наши дни. Но он и не мог не чувствовать, как сами братья-славяне постепенно растеряли свою православную церковную идеологию, а превратились, по прозорливому пророчеству К. Леонтьева, в «сторонников бельгийской конституции, которая не даст и преподобного, а не то что священномуученика».

Антоний вовсе не отдавал Церкви во власть государства. Он был одним из первых по времени, а по значению и величине самым главным защитником воссоздания патриаршества в России. Он со своим другом, епископом Михаилом (Грибановским), – рано умершим и завещавшим митрополиту свою панагию, которую он преемственно носил сам после митрополитов Палладия и Антония (Вадковского), – много и подолгу в былые годы беседовал о свободе Церкви, о воссоздании ее канонического строя и о многом другом, о чем глухо сказано в маленькой заметке Антония «Дисциплина аркана», напечатанной в «Волынских Епархиальных Ведомостях» за 1906 г., а потом воспроизведенной во II томе сочинений митрополита. Между прочим, владыка пишет: «Чувствую, что если доживу до старости, то не миновать мне больших столкновений за церковную идею, за освобождение Церкви от порабощения государственности». Статья заканчивается: «И многое иное говорил он (т.е. епископ Михаил), что еще неудобно печатать». Второй том сочинений архиепископа Антония вышел в 1911 году.

Это следовало бы помнить тем, кто из всей борьбы Антония за независимость Церкви от Саблера запомнил только пресловутую фразу, сказанную в запальчивости и раздражении, фразу о «черном борове». Не надо забывать и того, что при Дворе не любили Антония именно за его стояние за независимость Церкви. В переписке Государыни Императрицы

Александры Феодоровны к Государю прозрачно намекается на «левизну» его. Это Антоний-то левый? Он не был левым потому, что это несовместимо с его идеалом православного царства. Он не был политически правым, потому что он мог бы быть последовательно церковным в этом своем «правом» лагере. Он был просто церковным.

Рядом с отличавшей пок. митрополита церковностью надо поставить вытекающее из нее его чувство вселенской Православия. Известно было, – и я об это уже говорил, – что и в Академиях и в своей Волынской семинарии он много и убежденно покровительствовал меньшим братьям, приезжавшим к нам учиться грекам, сербам, болгарам, арабам, румынам. Митрополит с ними возился, имел неприятности с Саблером из-за них, особенно заступался за разных гонимых, и вероятно, по большей части за дело гонимых лентяев, пьяниц и всяких шалопаев. Он никогда не ограничивал православия одной русской его формой, к тому же формой самой младшей, тогда как восточное Православие было на тысячу лет старше нашего, а сербы и болгары были крещены тоже до нас, русских. В своей молодости он видел изгнанного из Сербии государственной властью митрополита белградского Михаила (Ивановича) и с большой любовью вспоминал его светлый исповеднический образ. В памятный 1913 г. на торжества Дома Романовых это по инициативе митрополита Антония был приглашен антиохийский патриарх Григорий, чтобы показать русским давно уже ими забытый чин патриаршего служения и самую фигуру восточного патриарха. Митрополит, как я уже упоминал, любил служить по-гречески, почти всегда несколько возгласов делал по-гречески, а то и всю службу совершил на этом языке. Он очень был рад своей командировке от Синода в Палестину, чтобы ознакомиться на месте с делами Миссии и Палестинского Общества. Он очень радовался моей туда поездке, вспоминал свое там пребывание, отдельных архиереев тамошних, сценки из жизни. Я его потешал повествованиями, не без присущей мне слабости имитировать действующих лиц.

Он скорбел о потере церковного чутья многими сербскими архиереями и священниками, не любил их обмирщенности,

подстриженности, штатскости, политианства. Да и в современных афинских эллинах он не мог усмотреть всего того, что предвидел за 80 лет до этого чуткий и умный Константин Леонтьев.

Кстати, о Леонтьеве. Как ни странно, митрополит его недооценивал. То есть точнее, он любил Леонтьева за его любовь к грекам, и именно к грекам, а не просто к восточным собратьям. Ведь Леонтьев был чистый филэллин и очень сдержанно, чтобы не сказать больше, относился к славянофильству. Митрополит ценил Леонтьевские публицистические сочинения, но совершенно мало знал и никак не восторгался Леонтьевым как литератором, как художником, как изумительным бытописателем Востока и особливо тогдашней Греции. Маленькая подробность еще. Многие знают, что Леонтьев принял «тайное» пострижение с именем Климента. Но в своей яркой книге о Леонтьеве Бердяев ничего не написал (вероятно, этого он и не мог узнать) о погребении Леонтьева. Леонтьев умер в Сергиевом Посаде. Митрополит Антоний мне сам говорил, что он, тогда архимандрит – ректор Московской Академии, совершил отпевание Константина Николаевича, или, уже по церковному, «монаха Климента».

Думаю, что барство и натуралистический эстетизм Леонтьева отврастили Антония от него.

Возвращаясь к вопросу о вселенской христианства, должен заметить, что владыка Антоний хотел в этом главным образом найти примиряющий этнический элемент наднациональности христианства. Шовинизм в церковных делах, будь то греческий, или сербский, или русский, был ему донельзя противен и чужд. Русское в православии, равно как и греческое или арабское, с исключительностью по отношению к другим обликам церковности было для него провинциализмом и отрицанием того, что во Христе ни эллин, ни иудей, ни варвар, ни скиф. Поэтому-то он и почитал в особенности греков над всеми другими, что у них мерило церковности чище и незамутненнее, что они сами классичнее, но, конечно, укорял греков в нечувствии в арабском или болгарском вопросе. Но самую схизму болгарскую по существу порицал. Он не

сочувствовал шовинистически настроенным греческим архиереям-венизелиотам, а самого Венизелоса не мог любить за его масонский либерализм, за несоответствие антониевскому византийскому политическому идеалу. Антоний очень чтил примат Константинопольского патриарха, сам в начале эмиграции раскритиковал проект епископа Вениамина (Федченкова) о создании в Константинополе русского Высшего Церковного Управления, но когда переехал в Сербию и когда его убедили возглавить знаменитый карловацкий Собор и Синод, он этим самым противоречил своим же взглядам на территориальный, а не национальный принцип в устройстве церквей. Не любя митрополита Евлогия за многое, он все же оценил его решение идти из Москвы прямо непосредственно к Константинопольскому патриарху за защитой.

Вспоминаю по этому поводу и такую подробность. В начале изгнания митрополит Антоний был в Афинах в гостях у архиепископа Мелетия (Метаксакиса), с которым тогда были у него отношения очень сердечные. Митрополит Мелетий, как архиепископ всея Эллады, оказывал нашему митрополиту все почести. Как-то зашел у них разговор о преимуществах Константинопольской кафедры и о каком-то расширительном толковании этих преимуществ тогдашним Вселенским патриархом (?). Мелетий особенно нападал на патриарха. Антоний спросил его, как он, Мелетий, к этим правам относится и что бы он стал делать, буде Промысел приведет его на Вселенскую кафедру. Мелетий заверил, что он не будет этими правами расширительно пользоваться, и отрицал вообще особые права Константинополя. Через несколько лет Промысел действительно судил Мелетию занять престол Златоуста и Флавиана, и он, конечно, настаивал на своих правах, толковал их еще более упрямо в расширительном смысле, да и вообще проявил себя неблаговидно в свои годы патриаршествования в Константинополе (новый стиль, автокефалия Польской Церкви, автономия Финляндии, Латвии, Эстонии и острейший венизелизм), – чего ему Антоний никогда не прощал.

Но вообще, признавая вселенский принцип превыше всего в устройении Церкви, Антоний отдавал преимущество культуры,

традиции, вкуса, стиля первому и наиболее классическому народу православного Востока – грекам. Он был великий и убежденный филэллин.

Митрополит свою церковность проводил очень последовательно и строго и в личной жизни. Он был неумолимый противник всякого новаторства в Церкви. Носил длинные волосы (они были прямые и некрасивые), широкую, окладистую, чисто русскую бороду. Такие бороды были у старообрядческих начетчиков, у бояр, у целовальников, купцов и однодворцев. Вообще лицо было очень русское и очень породистое, но не утонченно-барское. Это была скорее какая-то земская сила, что-то кондовое, круто замешанное. Итак, волос никогда не стриг. Посты соблюдал неукоснительно. До Сербии мяса никогда не ел, и очень возмущался, когда его в Греции в Афинах кормить хотели мясом. «Да что я, басурманин, что ли, какой?» Но в Сербии, видя, что архиереи вкушают мясо, он и сам, хотя безо всякого услаждения, ел мясо и нас, «студентиков», угощал колбасой, приговаривая старый семинарский анекдот, что слово «колбаса» еврейского происхождения, так как «кол» значит всякая, а «басар» – плоть, и что, следовательно, в колбасе всякая скотинка участвует: и корова, и свинья, и лошадь, а может быть, и кошка и собака. В гостях не рекомендовал подчеркивать свое постничество, а вкушать, что дают. А если молодой студент или монах начинал злоупотреблять постными упражнениями, то митрополит очень настойчиво заставлял оскоромиться в постный день. «Чтобы смирился, чтобы не зазнавался. Ибо Царство Божие не есть ястие или питие, а правда,

Любил чай, предпочтительно с молоком и обязательно с вареньем. Особенно любил клубничное. Любил все сладкое, как дети. Вина не пил, а так как в Карловацкой Патриархии всегда давали к обеду вино, то митрополит и хорошее белое вино разбавлял водою. Крепких напитков и в рот не брал.

Нравственности был безупречной. Любил, даже публично (что не бывало всегда удачно), заявлять, что он девственник. Этим он воспитательно действовал (знаю это из нескольких примеров) на многих. В наше безнравственное и либертинское

время это поражало и внушало уважение. Знаменитые слова и анекдоты, которыми так любят укорять митрополита, были, может быть, даже каким-то клапаном для выхода его острого слова, его таланта, наблюдательности и большой начитанности и наслышанности в российских словесности и остроумии.

Митрополит не носил ни подтяжек, ни подпоясывал поясом своих панталон. Поэтому они часто спадали. Однажды, заканчивая большое каждение на полиелее, он с трудом всходил на солею и с мучительным выражением лица едва передвигал ноги. Его, при входе в алтарь, заботливо спрашивает староста: «Вам нехорошо, Владыко Святый? Может быть, Вам лучше сесть?» – «Да ничего подобного, – стиснув зубы, отвечает митрополит, – просто штаны падают».

Вообще же владыка был чист сердцем, как ребенок, очень добр, бессребренник и нестяжатель. Любил дарить книги, одежду, четки, кресты, иконы и т.д.

Однажды в отсутствие келейника Феди зашел к митрополиту какой-то бедный русский кадетик из Сараевского корпуса. Оказался без обуви, в каких-то сандалиях. Митрополит сжался, велел пошарить под кроватью, не найдется ли какая пара обуви. Нашлись хорошие новые высокие сапоги. Кадет Шура сапоги с благодарностью взял, обулся и пошел щеголять в новых, фасонных сапогах по городу. Каково же было изумление Феди и растерянность бедного митрополита, когда оказалось, что это были только что Федей построенные себе новые, прекрасные сапоги. Это не послужило поводом для ссоры или сцены между митрополитом и верным келейником. И один был слишком выше этого, и другой был ребенок чистосердечный, нестяжательный и добрый, как и сам митрополит. Но смеялись они оба долго и от всей души, а потом Федя многим об этом со своим заливищным, высочайшим смешком повествовал, хлопая себя по коленям.

Поэтому владыка очень неодобрительно относился к архиереям из вдовых священников, за которыми тянутся длинная вереница родственников, племянников, зятьев, шуринов и прочее, что все ложится бременем на бюджет

архиерейского дома или монастыря. Вообще любил монашество, самый принцип несвязанности ни миром, ни семьей, ни общественными предрассудками. Любил монашескую нестяжательность и чистоту души, у тех, кто их умел нескверно соблюсти в иночестве.

Владыка Антоний, несомненно, был умным человеком и даже очень умным, но, во-первых, его ум был, так сказать, совсем необработанным; остался в сыром виде, как неграненный камень самородок, а во-вторых, не в силе ума было главное очарование и могущество митрополита.

Митрополит поражал, как уже было сказано, феноменальной начитанностью в тексте Писания, но совершенно не знал и не хотел знать достижений науки в области анализа текста. У него есть толкование на пророка Михея, где автор разбирает и книгу, анализируя и еврейские слова подлинника и доискиваясь смысла сказанного, но всегда его толкование обращалось к нравственной стороне дела, как у александрийцев оно в свое время устремлено было на изыскание аллегорического смысла. Он презирал исагогику, критику, сравнительный метод, все это пренебрежительно называя «тюбингенцией», главным образом потому, что, ознакомившись с крайними и не во всем удачными первыми выступлениями Баура и др., он не знал последующих трудов. Он просто совершенно не представлял себе того, что сделала библейская наука, не только протестантская, но и консервативная католическая, не пренебрегая, однако, критикой и филологическим анализом. Для него было почти откровением, что Харнак в последние годы сдал многие тюбингенские позиции, что работа Лагранжа по критическому разбору, казалось бы разрушительному, привела к положительным результатам, к выводам, против которых уже ничего не сможет сделать в десять раз более страшная тюбингенская критика, буде она явится.

Он, смею это утверждать, презрительно отмахивался от проблемы неподлинности той или иной книги, не дав себе труда вникнуть, что это значит, на чем это основано и к чему это приводит. Говорить на эти темы было просто бесполезно. Ведь

любопытно, что владыка совершенно серьезно хотел вернуться и звал ученых толковников текста вернуться к... Тихонию Донатисту, экзегету IV века. Это было оригинально, свежо, остроумно, в чем-то, конечно, верно, но этим же не исчерпывалась проблема толкования текста.

Я говорил, что митрополит был отрицателем мистики, им своеобразно отождествляемой с хлыстовским экзальтированным порывом, он был нечувствителен к историческим проблемам, и вообще не любил истории, он совсем не знал, например, всей проблематики истории религии, не читал ничего из работ Венской школы и журнала «Андропос», не знал работ Пинар-де-ла-Булле и т.д., не знал вообще много такого, что теперь неизбежно богослову прежде всего знать и изучить, а потом уже отрицать. Митрополит отстал от науки уже давным-давно. Он, например, любил предлагать как темы для публичных лекций критику Ренана. В свое время это ему очень удавалось и было исторически необходимо. Но когда ему говорили, что в науке выдвинуты новые взгляды, когда появились новые гипотезы, основанные на новых открытиях в области истории мифов и прочее, что надо знать прежде всего все эти открытия, а затем и искать оружие против неправильных из них выводов, он умолкал, как-то болезненнообиженно улыбался, и было его жалко.

Обладая сам очень острым от природы умом, но умом не изощренным в тонкостях научных методов нашего времени, Антоний поэтому и считал ученостью только то, что исходило от природной силы ума. Он отрицал эрудицию, потому что в ней не видел творчества. А признавал научное делание только самобытное, только творческое, только раскрывающее что-то новое, будь то толкование священного текста или изложение какой-нибудь нравственной или доктринальской истины. Помню, как он однажды при мне презрительно сказал о какой-то очень ценной русской исторической монографии: «Да ведь это компиляция; все с немцев содрано...» Напрасны были все мои попытки доказать владыке, что то, что он называет «компиляцией», а что правильнее было бы назвать библиографической эрудицией, необходимо нужно для

успешной работы над предметом. Он не понимал, или не хотел понять того, что эти компиляции избавляют дальнейшие поколения ученых от необходимости самим проделывать всю ту аналитическую работу, которую проделал «компилятор». Его раздражало перечисление всех мнений ученых экзегетов текста. Ему хотелось иметь ясный ответ на тот или иной стих Писания, или вскрыть общую мысль книги, совершенно не углубляясь в то, что могут быть влияния, источники, школы, направления. Все книги Писания были автентичны. Весь текст был неповрежден. Вопрос интегритета его просто раздражал. Также раздражали его уточнения какой-нибудь хронологической даты. А пуще всего он сердился при вопросе об «антиохизме» или «александризме» в богословии...

Да, в свое время архимандрит Антоний многих и многих спас от Ренана, показав всю его дешевку. Тогда Ренан был в моде и был опасен. Наше время знает Древса, Делича, Вельгаузена и многих других, против которых нужно иное оружие, выкованное в более серьезной научной лаборатории. То же можно сказать и про многие другие области историко-богословского ведения. Антоний, как и многие наши консерваторы среди благочестивых архиереев и мирян, смертельно боялся вопроса о неподлинности источника. Он считал достижением, скажу больше, панацеей против всей ветхозаветной критики диссертацию епископа Фаддея об единстве книги пророка Исаии. Он просто не понимал, что значит критика текста, в чем проблема интегритета или автентичности текста. Он был более в этом отставшим, чем знаменитый профессор СПб. Академии, ученый протоиерей Герасим Павский, который еще во времена Филарета говорил о неединстве пророка Исаии, и лекции которого были с разрешения тогдашнего начальства литографированы, и по которым студенты сдавали свои экзамены. Точно так же я его однажды насмерть огорчил, доказывая ему неподлинность Ареопагитиков, или, что IV и V книги против Евномия написаны вовсе не св. Василием Великим, а, вероятно, Дидимом Слепцом, и т.д. и т.д.

Был ли Антоний поэту обскурантом? Отнюдь нет! Утверждаю это со всей решительностью. Просто он был сын своего века. Он остановился в своем научном развитии в то время, когда богословская наука и в России и на Западе начала проходить свой интереснейший этап. Митрополиту не хватало прежде всего нашей теперешней научной эрудиции, известной дрессировке научного сознания. Но он не отрицал науку, не запрещал искать. Ему, может быть, было даже и чуждо все это историко-критическое исследование. Ум его был направлен на другое. Характерны его неисторичность и немистичность. Не побоюсь сделать смелое обобщение: Антоний был сын позитивистического века, он начал борьбу против протестантского рационализма, против латинской схоластики, и сам с ними боролся оружием рационализма. В каком-то смысле он был позитивист (конечно, не в вульгарном смысле, не в духе отрицателей 70-х годов).

Но, конечно, не ум, – будь он природный и неотшлифованный, или искушенный эрудицией и библиографиями, – был главным и могущественным оружием Антония. Антоний не теоретик только нравственного значения догматов и морализирования в теологии. Антоний был сам исключительным носителем высокого нравственного авторитета.

Филарет Московский покорял своей мудростью, Болотов и Глубоковский раздавливали всех колоссальным грузом своей начитанности и владением научным методом, Иоанн Кронштадтский прежде всего был молитвенник и т.д., а Антоний покорял, очаровывал силою своего нравственного влияния на молодежь. Он незаметно, как-то автоматически опутывал молодые души силою своего пастырского влияния, своей сострадательной любви. Он не только проповедовал эту любовь, но он ее осуществлял. Он болел с грешником, переживал его грех как свой собственный. Как он и сам говорит, в пастырском сердце это сострадание, это совместное переживание не дает уже места отдельному «я» от «ты»; в нем уже только одно «мы». Он так близко принимал к сердцу грех другого человека, потому что это нарушало дело Христова искупления, это вносило дисгармонию. В этом он напоминал,

как ни парадоксально такое сопоставление, архимандрита Феодора Бухарева, который просто страдал и мучился малейшими проступками студентов Академии, так как это нарушало искупительное дело спасения Христом всего человечества. (Боже, что бы сказал Антоний, если бы узнал такое мое сравнение его с «расстригой» Бухаревым!) Антоний был воплощенная нравственность и совесть, хотя бы и у него были свои мелкие грехи и, может быть, даже крупные заблуждения.

В 1935 г. к 50-летнему юбилею Антония ему написал исключительное по искренности письмо профессор А. В. Карташев. Он между прочим писал: «Вы человек с душой огромного, почти сверхчеловеческого калибра. Дело не в талантах только ума и культуры, а в чрезвычайной широте и зоркости сердца, властно охватывающего людей подобно тому, как охватывает их родительская любовь, мать-природа, сила красоты или сила благодатная церковного богослужения. Нечто самоочевидное, бесспорно ценное, перед чем невольно замолкает и трепещет заурядное ничтожество. От В. В. Болотова веяло как бы сверхчеловечностью интеллекта. От Вас идут волны таких же озарений сердца и совести... Я считаю, что не быть Вами очарованным, по крайней мере, эстетически, если не духовно, могут только люди нецерковные и бездарные... Взирая на пламенеющий костер любви в Вашем широком святительском сердце, я не могу не лобызать его с дерзновением духовного сына, укрепляемого Вашим влекущим образом всецелой преданности Господу Иисусу Христу и Его Святой Церкви в плоти нашего родного православия».

Многое еще хотелось бы записать о митрополите, но довольно и этого малого. Это – мало, ибо и малое время знал я его. Мне не дано было видеть его утреннюю звезду, восходящую на Востоке русского неба в 90-е годы прошлого века; я не видел яркого и светлого сияния Антония в полдень его жизни; мне дано было с ним встретиться тогда, когда «же к вечеру преклонился день» его жизни, но я счастлив тем, что я видел его «тихий свет святой славы», что я на «западе его

солнца» облобызал его хладеющие руки, которые на меня низвели огонь апостольской благодати.

Часть II. Епископ Челябинский Гавриил (Чепур)

Преосвященного Гавриила я встретил впервые в Белгороде в мои студенческие годы. В России я даже и не слышал о нем, так как он, уйдя из Москвы с поста Синодального Ризничего, был назначен викарием Кишиневской епархии и там и жил безвыездно.

Но в Белгороде я уже узнал, что где-то в одном из Фрушкогорских монастырей проживает какой-то очень толстый архиерей, очень нервный, раздражительный и необыкновенный знаток церковного устава. Имя его Гавриил. Но прошло, вероятно, года два-три со времени моего приезда в Сербию, пока я с ним встретился. Я уже знал, что его знание литургики совершенно феноменальное, что в бытность его в Бессарабии даже старообрядческие уставщики и начетчики страшились встречи с ним, его осведомленности в самых запутанных вопросах устава и его непогрешимости в этой сфере.

Первый раз я увидел еп. Гавриила вечером в Белградской русской церкви, когда она помещалась в старом сарае (бывшей конюшне во время австрийской оккупации), на старом кладбище. Это было третье помещение, которое наша церковь занимала. Первое место ее пребывания была какая-то столовая, потом зал Сербской III гимназии на Негошевой улице и третье – этот сарай, на месте которого потом была воздвигнута каменная в Псковско-Новгородском стиле церквица Св. Троицы, рядом с сербской церковью св. Марка.

Мы, студенты богословского факультета, толпились около этой церкви, кто помогая пением, кто прислуживанием, пономарством, чтением. Был конец второй седмицы Вел. Поста. В субботу вечером я вошел в алтарь нашего храма-сарая, чтобы заняться своими пономарскими и псаломщиками обязанностями. В церкви тогда служил обыкновенно сам настоятель, о. Петр Беловидов, или его помощник, недавно рукоположенный о. Владислав Неклюдов. Архиереи тогда у нас служили редко. Митр. Антоний бывал, но только наездом из

Карловцев, а другие русские владыки жили по назначенным им монастырям на Фрушкой горе или в других местах.

Войдя в алтарь и поклонившись, я был несколько удивлен присутствием постороннего лица, какого-то очень полного архиерея. Взял благословение. Владыка меня шумно расцеловал, спросил, кто я, что я делаю. Я отошел в сторонку и стал наблюдать.

С правой стороны престола стоял необыкновенно толстый человек в весьма засаленной ряске с панагией. Почти круглое лицо, редкая бородка, длинные, лоснящиеся волосы, маленькие, казалось звериные, глазки. Голос очень высокий. Видно было, что владыка долго был вне самых элементарных условий человеческой цивилизации: неопрятность и бедность отпечатались на нем.

Он не служил всенощную, только стоял в алтаре. Ушел, никем не сопровождаемый. Я как-то и не задержался вниманием на нем в этот вечер. Но на следующий день владыка этот совершенно меня ослепил.

Была вторая неделя Вел. Поста, память св. Григория Паламы. Я это, конечно, знал, но мало себе представлял духовный облик и богословское значение этого святого. Что-то из учебника церковной истории я знал о Фаворском свете, о каком-то Варлааме, об исихастах, но в чем там было дело, я не мог себе ясно представить.

Вчерашний владыка пришел в алтарь к началу литургии, но не служил. Настоятелю же церкви он сказал, что будет говорить проповедь. Мы приготовили ему мантию, омофор, и он в положенное время вышел на амвон нашего сарайчика. Как только он произнес первое слово, стало ясно, что это что-то совершенно необычайное. Это не была проповедь в обычном значении. Владыка говорил о сегодняшнем святом, об исихастах, о несозданном свете. Но как он говорил! Сразу почувствовалось, что говорит человек «власть имущий», а не «как книжник и фарисей». Было ясно, что тут нет ничего из учебника гомилетики, от семинарской рутины, от каких-то заученных образцов. Говорилось так, что было всем ясно, что этот свет и самих исихастов проповедник видит, чувствует,

переживает своим собственным опытом. Вчера казавшийся несколько смешным, тоненький, пискливый голосок архиерея звучал вдохновенно, пламенно, величественно. Проповедь лилась неудержимым потоком, сверкая своими поэтическими образами, осыпана литургическими текстами, выдержками из Писания, литературными, изящными оборотами, а не какими-то закостеневшими формулами. От церковно-славянского языка его не становилось скучно и фальшиво-елейно, ибо в нем звучала мера поэзии, магия слова.

«Светы сый, Христе, просвети мя Тобою...»

«Лучезарныя Твои молнии возсияй ми, Боже Триипостасный Содетелю...»

«В горняя, в горняя, к свету...»

Я забыл эту проповедь в ее буквальных выражениях, но ее содержание, весь ее духовный смысл и внешнюю красоту чувствую и переживаю и сегодня, хотя и прошло с того дня больше четверти века. Я потом встречал в Париже людей, которые в тот день слушали эту проповедь и не могли ее никогда забыть. Когда владыка кончил свою проповедь и ушел из церкви, долго еще спрашивали молящиеся, да кто же это такой, этот неслыханный, изумительный оратор, этот поэт, огненными словами жгущий, тончайшую филигранью славянских оборотов и вековой церковной красотой заплетающий все кругом.

Меня это лично пронзило и ослепило на всю жизнь. Св. Григорий Палама, сверкнувший в словах преосвященного Гавриила своим немеркнущим Фаворским светом, на всю мою дальнейшую жизнь загорелся сиянием и осветил весь мой путь. Не тут ли впервые пронзил меня луч мистических очарований? Не тут ли запало в душу стремление к афонским вершинам, к нашей общей, к моей личной эллинской метафизической родине? Не тогда ли бессознательно зародилась мысль о научном интересе к паламизму?

Тогда-то, конечно, все это было бессознательно, скорее в плане эстетическом, эмоциональном. Но запавшее в землю семя проросло, взросло, расцвело. Я почувствовал, что

Палама – это мое. Стало ясно и другое: этот толстый архиерей тоже «мое». Забыть его уже нельзя было.

В тот день я, конечно, не мог познакомиться с еп. Гавриилом. Он уехал в свой монастырь (Шишатовац или Привину Главу, точно не помню), и только в августе того же года он снова появился в нашей дощатой церкви. Впрочем, возможно, что он служил у нас на Страстной неделе того же года, хотя все же вероятнее, что это было на следующий год. Во всяком случае, его приезд в августе был очень для меня значителен.

Был канун Преображения. Опять-таки праздник паламический, Фаворский. Я на всенощной опять увидел еп. Гавриила. Он не служил, а только стоял в алтаре. Я читал паремии. Особенно я любил этот известный отрывок из III книги Царств, где Илия узнал Бога не в огне, не в ветре, не в землетрясении, а «в гласе хлада тонка». Я не помню, чтобы как-то особенно читал эти паремии. Читал так, как религиозное чувство подсказывало, стараясь по совету митр. Антония и о. Петра Беловидова читать безо всякого выражения, без своих интонаций и интерпретаций. Пусть сам текст говорит за себя. По-видимому, какой-то голос сердца невольно пробивался через ткань слов. Я всегда с трепетом слушал и сам волновался, когда читал это место: «...дух, разоряя горы и сокрушая камни, но не в дусе Господь, и по дусе трус, а не в трусе Господь. И по трусе огнь, и не во огни Господь. И по огне глас хлада тонка, и тамо Господь...»

Когда я вернулся в алтарь, то еп. Гавриил буквально кинулся на меня и стал меня обнимать, целовать, и слезы катились по его толстому, заплывшему лицу.

«Дитя мое дорогое... Друг мой... Вижу, что ты из нашего рода... Прекрасно прочел. Бог да благословит тебя!»

Я был нескованно смущен, а главное тем, что «сам» Гавриил меня хвалил и что похвала эта так мало в себе имела «глас хлада тонка», а скорее была полна сокрушающего все духа бурна.

Вот наши две, так сказать, «паламические» встречи. Они предопределили многое в наших отношениях в будущем. Не

сразу, конечно, но прочно установилось у нас, не побоюсь сказать, близкое общение на почве церковных интересов, главным образом литургической красоты объяснения Св. Писания, богословия, в частности догмата о Церкви и Евхаристии.

Биографии своей целиком владыка мне никогда не успел, а может быть, и не хотел рассказать. Но то, что я знаю, можно свести к следующему.

Григорий Маркеллович Чепур родился 19 декабря 1874 года. Отец его, Маркелл Федорович, был военный, служил в уланах, участвовал в турецкой войне 1877 г., вышел в отставку в чине майора. Мать владыки, Людмила Ивановна, была рождена Оссовская, дочь казначея Кишиневского казначейства, сначала римокатолика, но потом принявшего православие. Владыка родился на одном из ближайших к Херсону хуторов. Войну юная женщина провела с сыном в Кишиневе у родителей мужа. Здесь мальчик часто с матерью бывал в церкви, то семинарской, то крестовой, в архиерейском доме. С детства мальчик пристрастился к церковному Писанию, к богослужению, к литургической красоте, о чем потом он вспомнил в своем вдохновенном слове при наречении во епископа.

В гимназии он обнаружил выдающиеся способности по математике, и учитель предрекал ему блестящую ученую будущность. Но юный Григорий Чепур поступил в Киевскую Духовную Академию, чем навлек на себя презрение своего учителя в гимназии. В Академию он поступил в 1892 г., на один курс с Михаилом Николаевичем Скабаллановичем, будущим профессором Киевской же Академии, прославленным литургистом и автором «Толкового Типикона» и «Христианских праздников». На том же курсе были будущие преосвященные Агапит (Вишневский) и Дмитрий (Абашидзе), впоследствии Таврический, не уехавший из Крыма с армией Врангеля и потом приявшим схиму.

Увлечение литургикой связало Чепура и Скабаллановича на всю жизнь. Впоследствии еп. Гавриил вместе со Скабаллановичем были вдохновителями знаменитой в истории Киевской Академии «идеальной всенощной», которую

отслужили студенты Академии и к которой готовились около двух лет. Скабаллановича еп. Гавриил вспоминал всегда с большим уважением и теплом, считал его выдающимся ученым лингвистом. Скабалланович писал, как известно, кандидатскую работу, потом переделанную им в магистерскую, о первой главе пророка Иезекииля. Потом он преподавал в Академии догматику и кончил после печальной памяти ревизии 1908 года латинским языком.

Чепур же выбрал темой для кандидатской работы «Типикон великой Константинопольской церкви» (исторический очерк). Проф. Димитровский отметил сочинение как «вполне удовлетворительное», а проф. Ястребов дал такое мнение: «Очень хорошая кандидатская диссертация; материал изучен тщательно и обстоятельно, видимо с любовью и даже увлечением». Балл был поставлен: «весъма хорошо» Магистрантом, однако, Чепур Академию не окончил. Он был выпущен первым среди кандидатов. Ученая карьера ему, по-видимому, не открывалась. Он и сам говорил, что для академического профессора, для кабинетного работника ему не хватало, главным образом, новых языков, которые он знал так себе. Но талантливым преподавателем и проповедником Евангелия и красоты церковной он был бесспорно.

По окончании курса в 1896 году он принял монашество под влиянием архим. Сергия (Ланина), впоследствии архиеп. Ярославского. Их связывало многое. Жизненный путь молодого инока Гавриила не отличался от обычных послужных списков наших ученых монахов: преподаватель Новгородской, а потом Александровской миссионерской (или, иначе, Ордонской) семинарии, где он в 1899 году был назначен инспектором. Уморительнейшие анекдоты об осетинах-семинаристах и кавказцах и всей жизни там сохранил он в своей памяти. В 1901 году он инспектор Могилевской семинарии, в 1902 году – ректор Полтавской и архимандрит. В 1906 году он – синодальный ризничий, после архим. Бориса (Шипулина); в 1908 году – ректор Вифанской семинарии, а 17 января 1910 года – епископ Измаильский, викарий Кишиневской епархии. В 1911 году его

переименовали Аккерманским и первым викарием этой епархии.

В бытность свою инспектором и ректором семинарий о. Гавриил уже прославился как талантливый преподаватель Св. Писания. Его толкования были всегда ярки, свежи, не схоластичны, насквозь пронизаны литургическим восприятием Библии и Евангелия. Он, как нам кажется, правильно понимал православный подход к толкованию Слова Божия. Он не увлекался протестантскими исагогическими подробностями, не дробил текст на отдельные фразы, не пускался в филологические тонкости, но в то же время и не засушивал его подразделениями на « первую мысль », « вторую мысль » и т.д. Он в Писании видел не только одно учение о спасении души, а бездонный источник красоты, который всегда у него подтверждался литургическими примерами: стихирами, тропарями, прокимнами и под. Художник чувствовался в нем всегда и везде: в служении, в проповедании, в пении.

Но педагогическая деятельность его была омрачена и скорбями. В Полтаву он был назначен на место очень известного там ректора, прот. И. Х. Пичета, которого почему-то невозлюбил Синодский ревизор П. И. Нечаев (автор «Практического руководства»). Архим. Гавриил позволял себе гласно критиковать, может быть даже вышучивать, своего предшественника и, во всяком случае, его артистически копировать. Этим он против себя восстановил преподавательскую корпорацию. С другой стороны, так как в русских семинариях обязательно полагалось бунтовать, будь то против режима строгого инспектора, будь то против злоупотреблений эконома, будь то просто под влиянием революционной пропаганды. Архим. Гавриил, кроме того, открыто делил семинаристов на своих любимцев и нелюбимцев. Это, что греха таить, за ним водилось. И вот, когда против него семинаристы восстали, то и корпорация его не поддержала, и ректору пришлось не особенно доблестно искать спасения бегством.

Жаль только, что этот эпизод весьма односторонне представлен в нашей литературе. Проф. Н. Н. Глубоковский,

общепризнанный и большой ученый, но заклятый враг монашества, видевший почти все зло в нашем учебном деле оттого, что ректоры семинарий и академий назначались из черного духовенства, изобразил в своем докладе Предсоборному Присутствию этот эпизод из жизни Полтавской семинарии и односторонне, и совсем недостойно для профессора большого стиля. Его высмеивания лiturгических увлечения о. Гавриила читать неприятно ²⁵. По-видимому, Глубоковский не нашел ничего в о. Гаврииле, кроме артистической способности всех копировать. Другой такой же монахоненавистник прот. Г. Шавельский в своих «Воспоминаниях», написанных тоже недостойно того высокого доверия, которым он был облечен, об еп. Гаврииле только и нашел, что характеризовать его как «большого чревоугодника, циника и десятипудового» ²⁶.

Но оставляю в стороне эти мелочные уколы личного свойства. В Москве о. Гавриилу было где развернуть свои музыкальные и лiturгические таланты. К нему хорошо относился митр. Владимир, архим. (потом епископ) Феодор (Поэдеевский), еп. Анастасий (Грибановский) и др. видные московские прелаты. Близость Синодального училища, его прославленного хора, московских церквей, особенно Успенского собора с его уставными службами, Троицкой Лавры, ее скитов, Нового Иерусалима и т.д. Синодальный Ризничий был во главе, так сказать, московского лiturгического стиля. Все пышные службы московского митрополита, кремлевские дворцовые соборы, частые приезды в Москву Царской фамилии, такие службы, как мироварение и т.п., давало Ризничему возможность показать свое богослужебное образование, свою лiturгическую культуру, свой стиль. Сам ризничий являлся настоятелем своего храма, под Иваном Великим, служил, конечно, и в других московских церквях.

Тут-то о. Гавриил и развернулся во всем своем блеске проповедника, музыканта, уставщика, лiturгиста. Он не был только уставщиком, т.е. начетчиком, знающим устав со всеми его тонкостями, Марковыми главами и проч. Он был тонкий лiturгист, отличный знаток истории каждого чина, ценитель и

знаток богословского смысла каждого последования, каждой молитвы, каждой стихиры. В нем сочеталось многое: ослепительный талант, художник, знаток устава, богослов. Он был проникнут тем же духом, что и его друг Скабалланович. Дух знаменитого «Толкового Типикона» Скабаллановича, дух его толкований двунадесятых праздников, его знание Библии восполнялись талантом и артистической натурой о. Гавриила. У о. Гавриила знание и понимание литургической красоты, доведенное до вершины стильности и классики, переходило в известный литургический снобизм и болезненное повышенное требование к безгрешному исполнению богослужения.

Надо сказать, что должность Синодального Ризничего была исключительной в русской иерархии, но, к сожалению, недооцененная и широкой публики почти совсем неизвестная. Как-то обер-прокурор Синода гр. Н. А. Протасов сказал тогдашнему Синодальному Ризничему иеромонаху Савве (Тихомирову, впоследствии архиеп. Тверскому) при посещении им ризницы: «Знаете ли, о. Ризничий, ведь Ваше положение такое же, как барона Корфа, Директора Императорской Публичной Библиотеки; у вас на руках такие же сокровища как у него».

В самом деле, ценности рукописных сокровищ, впоследствии описанные Горским и Невоструевым и ставшие благодаря им доступными всему ученному миру, богатство самой ризницы с ее облачениями и сосудами древних царей и патриархов, бесчисленные богатства церковного искусства – все это было на руках Синодального Ризничего и благодаря ему могло быть обозреваемо учеными, туристами и всеми интересующимися отечественной историей. Все это теперь раскрадено и расташено по всему миру во дни русской смуты.

Жаль, что пост ризничего стал, как и должности ректоров академий и семинарий, одним из служебных этапов для выслуги ценза на высшие иерархические должности. Благодаря этому ризничие менялись чуть ли не каждые два-три-четыре года, не успев много сделать на своем поприще. Знаменитый Савва (Тихомиров) пробыл 9 лет. Но это было во времена митр. Филарета!

Мне рассказывали бывшие студенты Московской Академии, что от времени до времени о. Гавриил давал знать в Посад, что он собирается к ним приехать и предполагает служить в академическом храме. При этом заранее он писал о своих требованиях: сослужить ему будут такие-то и такие-то иеромонахи или священники, такой-то диакон, но Боже упаси, не этакой, ибо сей последний служил не совсем музыкально, плох в церковном пении, недостаточно расторопен и т.п. Его требования классического исполнения устава и службы, предельной музыкальности, отчетливости и прочее при известной несдержанности и нервности заканчивались резкими его выговорами тут же при службе (характерная черта «уставщиков», о которых знаменитая игумения Екатерина (гр. Ефимовская) говорила, что они все «неврастеники»). Эти резкие словечки принимали кое-когда форму и оскорбительную: «дурак», «болван», а иногда, рассказывают, даже и более резкие и обидные. Ну да кто в этом не грешен. Бог да простит покойному все его выпады. Ведь они были продиктованы любовью и ревностью к храму и красоте Господней. Это благородный гнев артиста, не выносящего ремесленного или бездарного отношения к художественным произведениям. Об этом я еще вспомню несколько позже.

Уход митр. Владимира был и причиной ухода архим. Гавриила с поста ризничего. Он сам поведал о своем разговоре с митр. Владимиром. Митр, убеждал его ждать освобождения более интересной кафедры, чем викариатство в Бессарабии, но о. Гавриил предвидел, что с новым митрополитом придут новые люди, которым он может и не подойти. А он был человек очень личный, и, да простит мне его память, очень пристрастный.

В Бессарабии он провел все время до революции как викарий Измаильский, а потом Аккерманский при сменившихся архиереях Платоне (Рождественском), Серафиме (Чичагове) и Анастасии (Грибановском). Здесь он очень много сделал для упорядочения богослужения по церквам и монастырям, много разъезжал, много проповедовал, иногда по четыре проповеди в день сказывал, занимался текущей епархиальной работой при частых отъездах архиереев правящих или их перемещениях.

Тут у него сложились хорошие отношения с старообрядцами, которых в Новороссии немало. Да и по своему молдаванскому происхождению он был в Бессарабии у себя дома. Но, конечно, в Кишиневе он был только «вторым» после правящего архиерея, тогда как пост синодального ризничего в Москве – единственный во всей русской иерархии. Деятельность ризничего более интересная в отношениях культурном, литургическом, научном. Викарий отдаленной епархии должен был неизбежно уйти в прозу повседневной епархиальной жизни.

Революция застала его на этом посту. Высшее Церковное Управление на юге России назначило его потом на кафедру Челябинскую, куда он так никогда и не попал, пользуясь только этим титулом. Из России он попал прямо в Сербию, где жил и скончался в 1937 году.

Знаток церковного богослужения и поэт, еп. Гавриил воплощал это в своих проповедях, которые были исключительны по красоте, по поэтичности, по блеску. Он никогда ничего не напечатал, хотя много своих проповедей он в России записал. А может быть, записали другие. Едва ли не единственное, что сохранилось в печати из слов еп. Гавриила, это его Слово при наречении во епископа Измаильского. Оно напечатано в «Прибавлении к Церковным Ведомостям» за 1910 г. (№ 8, стр. 357–363). Я приведу его здесь целиком, предварительно заметив нечто об этих «Словах при наречении». Из всех гомилетических образцов это, признать надо, один из самых слабых. Почти все эти «Слова» трафаретны: в них, прежде всего, говорится о нежелании кандидата во архиереи, о неискании им архиерейства, о своем недостоинстве, выражается благодарность за избрание и приводится набор выдержек из Свящ. Писания в подтверждение всего этого. Я знаю очень малоудачных «Слов при наречении», а перечитал я их достаточно. Хороша речь митр. Антония (Храповицкого), очень неплоха речь еп. Порфирия (Успенского), в которой он исповедует свое понимание архиерейства и не слишком распространяется о своем неискании и нежелании. Архим. Фаддей (тоже Успенский), автор диссертации о единстве книги пророка Исаии, в своей речи тоже сказал откровенно о

том, что он хочет архиерейства, что он себя издавна чувствовал к этому призванным. Архим. Феодор (Поздеевский), последний царский ректор Московской Духовной Академии, неплохо говорил о мудрости века сего, о чуткости совести и о подделке христианства современностью. Кратко богословствовал в своей речи Феофан (Быстров).

Вот что сказал архим. Гавриил при своем наречении:
«Богомудрые архипастыри и отцы!

Благословен день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: «Се, грядет в мир человек». День тот да будет радостен; да взыщет его Бог свыше и да воссияет над ним свет. Да не омрачит его тьма и сень смертная, да не обложит его туча, да не страшатся его, как палящего зноя. Ночь та – да не обладает ею мрак, да не будет она безлюдна, да войдет в нее веселье; пусть ярко горят звезды рассвета ея, знаменуя явление Света Истинного, «иже просвещает и освящает человека, грядущего в мир». Незнaten и небогат этот человек, не будет избалован он безмятежной жизнью и особым вниманием людей, но объемлющая его любовь Божия предсудила ему великую духовную радость, для выражения которой нет слов на языке человеческом... «Ни око его не видело, ни ухо не слышало и на сердце ему не приходило, что уготовал для него Бог», и только ныне дух его потрясенный, в самых таинственных глубинах своих, приникает в великое, недоведомое таинство, и умиляется от несказанной радости и весь трепещет любовью от всеоживляющей любви...

Я дважды уже приближался к грани, отделяющей потусторонний мир: раз в волнах многоводной реки, в дни золотого детства, в другой раз во мраке многоболезненной ночи, в пору зрелого мужества, и в предсмертные минуты вся моя жизнь от начала до конца, подобно молнии, пролетала в сознании... и, о дивное чудо, и днесь, стоя на грани нового недоведомого подвига, чувствуя, что повторяется нечто подобное в моей душе, но теперь с наибольшею силою обновляются в памяти те радостно-благодатные минуты, когда сердце было отверсто и ждало: «Приди, Господи», и когда Господь действительно приходил, если не в видении, звуке и

образе, то в несказанных утешениях, в умиленных молитвах, благодатных слезах. Прошу и мил ся дею вам, богоносные отцы, да не утрудится ваш благочестивый слух моим недостойным исповеданием».

Помню, как сейчас, первое пробуждение во мне духовной жизни, когда я принял семя благодати Божией в сердце сознательно. Входил я семи лет от роду со своей матушкой во святый и Великий Вторник в один из величественных храмов моего родного города. Служба шла в скромном приделе. Священный лик, «не дерзая приносить бескровной жертвы за честность великого дне, заменял ее воздеянием рук» и умиленною жертвою пения. О, что это было за пение! Поистине, оно проходило «до разделения души и духа»; и мальчик под тихие звуки, волны которых смешивались с волнами благовонного фимиама, вошел впервые во святое святых внутренней своей богообразной скинии – он обрел там Бога своего, почувствовал впервые, как близок Бог к нему, как любит Он его; и шевельнулось что-то новое, великое в глубине души, и теплые слезы полились из его глаз, и высоко-высоко поднималась детская грудь, и усиленно стучало сердце... И страшно было и радостно... А звуки все лились и лились, как светлые лучи необъятной милости, возвещая зарю новой жизни... О, тогда в первый раз понял я, что в храме Божием поют и читают; понял раз навсегда, какие великие сокровища сокрыты в этих великих зданиях, благоукрашенных куполами и крестами, которые, казалось тогда, уходили в самое небо. И с тех пор каждый звук церковного колокола вызывал во мне драгоценное воспоминание, сладостно становилось на душе. Иногда в тиши ночной прислушивался я к этим звукам, и мнилось, что в них движется какая-то тайная сила, зовущая куда-то далеко-далеко, к Богу ласки, утешения и любви.

Читал я потом о подобном настроении дитяти у одного христолюбца (Достоевского) и, как в зеркале, видел и свое духовное возрождение в светлых страницах его вдохновенных писаний, и плакал, и радовался тому, что посетила меня Божия благодать.

Дни проходили за днями, наступало время школьного учения. С усердием, больше ради преимущества чести, чем по чистым побуждениям, относился я к преподаваемым мне наукам в средней светской школе, но сердце мое устремлялось в храм Божий и чутко прислушивалось к тому, что там поют и читают... О как была эта жизнь далека от той жизни, которая меня окружала: «Яко отстоит небо от земли, отстоят путе Моя от путей ваших, глаголет Господь», страшно прозвучало однажды в ушах моих... И любил я во время торжественной архиерейской службы, ставши где-нибудь в уголке храма и припадши на землю, радостно уноситься далеко-далеко от земли, где ангелы святые, горящие любовью паче звезд небесных, трисвятыми песнями восхваляют Создателя Бога и стерегут великую службу спасения бедных, грешных людей... Но более любил я прийти в тот храм, где получил первое откровение Божией благодати, прийти и стать около клироса и слушать, как читает-поет старый дьячок, который, кажется, при этом весь уходил от мира печали и вздоханий, и, предстоя Богу, вещал глаголы вечной жизни, дрожащим, может быть от старости, а скорее от благоговейного волнения голосом. От его старческих уст я научился трогательным напевам и усвоил многообразное церковное осмогласие. Он уже почил от трудов и приложился к отцам своим, но ныне, в день моего великого праздника, да будет помянут он – первый мой церковный учитель. С каким благоговением я украдкой посматривал на те толстые кожаные книги, которые были разложены у него на аналое; я верил, что там скрыта мудрость, которую мне не даст никакая наука. И я решил – во что бы то ни стало овладеть этим сокровищем: приобрести себе в собственность эти кожаные книги... и те ничтожные лепты, которые давали мне любящие родители на невинные детские удовольствия, я стал усерднее собирать, лелея мысль о целой богослужебной библиотеке, о высоком наслаждении читать и петь дома то, что слышал я в Божием храме.

Первая приобретенная мною книга была – Служебник. О, день тот был днем великой радости для меня. Возвращаясь домой с сим новым сокровищем, я шел по улице с раскрытой

книгой в руках до тех пор, пока не достиг тенистой аллеи сада, где и просидел, сокрывшись под многоветвистым деревом от палящего летнего зноя, несколько часов, благоговейно перечитывая дорогие для меня слова; я целовал страницы этой книги, восторгу моему не было конца, и доселе храню ее, как самую драгоценную святыню, и прочитываю по ней молитвы в умиленнейшие минуты жизни. Но каково было мое счастье, когда я одну за другой стяжал себе в собственность все богослужебные книги. Они являлись для меня самым назидательным, святым чтением; из них я учился и доктрике, и нравственному богословию, правда своеобразным, но зато и легко усвояемым по своим поэтическим красотам. А в словах воскресных стихир: «Кто виде, кто слыша мертвца украдена когда, паче же помаза и нага, оставльша во гробе своя погребальная, не прельщайтесь иудее, навыкнете речением пророческим... и уразумейте, яко той есть воистину избавитель мира и всесильный». Я узнал потом уже в академии и мудрую «апологетическую теорию», излагаемую ученым профессором совершенно независимо от содержания ветхой демии кожаной книги...

О, как мне было в те дни тяжело слышать слова хулителей, слова гордые, что вся эта церковность – одна форма, что следует обращать внимание исключительно на «сущность», на «идею», на «содержание»; дал бы им Господь побольше этого внутреннего духовного содержания; может быть, они тогда не низводили бы в разряд пустых форм многотканного покрова, возложенного смиренной любовью Церкви на великую тайну воплощения Бога Слова.

Много путей открывалось мне после добросовестного окончания среднего образования, но церковный колокол звал к себе, под сень Божия храма, туда, где испытал я первую духовную радость; и десница всеблагого провидения открыла предо мной двери высшей богословской школы. Последняя просветила церковной музыкой (особенно в лице проф. А. А. Дмитриевского) юношу светского образования и воспитания; глубокая ей за сие благодарность. Но в эти счастливейшие четыре года жизни взоры мои обращались благоговейно более к

«явленной» среди гор Киевских, «горе Господней, и к дому Божию вверху горы. У ее подножия – во гробех лежат, яко спят «бесчисленные сонмы святых, искавших света во тьме пещерной. На вершине ея вечно горит светильник Божией благодати и раздаются немолчные гласы радования. Здесь я научился и жажде подвига, и «радости о Дусе Святе», движущейся в глубинах поэзии церковной. Со слезами многими слушал я здесь все и, не обинуяся ныне скажу, не опустил по благодати Божией ничего полезного. Особенно помню, как после многогранного троичного канона на воскресной полунощнице, среди тишины ночи пели иноки: «Лучезарная Твоя молнии воссияй ми, Боже мой, Триипостасный Содетелю, и дом мя покажи Твоема неприступныя славы сеятель и светоносен и неизменен». Запечатлелись и предпразнества Рождества Христова и Богоявления с их дивными канонами, составленные по образцу канонов Страстных; а особенно Великий канон с трогательным пением всех тропарей его от нощи до стражи утренния... И великое, скорбное: «Господи, прежде даже не погибну, спаси мя».

Церковная служба была тогда в святой лавре Печерской на недосягаемой высоте, в значительной степени благодаря неустанным трудам великого ее отца наместника архим. Сергия (скончавшегося архиеп. Ярославским); она поставила меня на путь иночества, и от руки незабвенного почившего владыки Сергия я принял иноческий постриг в пещерах Киевских, после окончания академического курса. Впереди была самостоятельная жизнь... далекая – далекая стезя...

Господь управил стопы мои на северный Кавказ, в одинокий осетинский аул; там, по-видимому, заброшенная в глуши, стояла миссионерская семинария, куда я был послан учить вдохновенному созиданию Церкви Божией через слово проповедническое и святую службу церковную. Ехал я с самыми безотрадными мыслями, но Господь был со мною, и я, прибывши туда, обрел там святителя мудрого, благовестием которого питал свой дух и умножал дарованный мне Богом малый проповеднический талант; узрел и нескольких иноков, которые в этой глуши нашли счастье своей жизни. Хвала и честь

сим одиноким труженикам на чужой стороне: они, кажется, всю свою душу старались вложить в то дело, которое им вручено было Богом. Они теперь все в святительском сане предстоят престолу Божию одни на земле, а другие уже на небе (святитель Иоанн Пермский, основатель Ардонской семинарии).

А какая была здесь благолепная служба церковная! Какая истовая! Здесь было чему поучиться и чему поучить других. Страстная неделя, Пасха... – все полностью... все с любовью... все с благоговением... все с умилением, все с радостью. В Великую субботу почти не выходили из церкви, и никто не жаловался на утомление, лица у всех светлые и радостные. Пасхальная ночь проходила, как миг. (И только в Вифанской великороссийской семинарии удалось мне впоследствии устроить подобие той великой службы.)

Пять лет моей жизни прошли в Ардоне, как последняя стража ночи, убегающей перед наступлением рассвета, конечно, не без скорбей и испытаний, но «я не помню к тому скорби за радость», потому что много юношей церковных вышло оттуда в мир.

Всеблагая Десница Божия восхитила меня от юга и предпоставила к далекому северо-западу... Вот я среди бедной материальными средствами и культурным достоянием, но богатой сердечной нежностью и искренней любовью Белоруссии. Здесь судил мне Господь вести дело воспитания, первые опыты которого я изведал на пылком Кавказе, и скажу необинуяся: год моего инспекторства в Могилеве – самая светлая страница всей моей духовно – учебной службы. Я любил милых, кротких юношей, и они любили меня, и в тишине и радости проходила там жизнь наша. А что говорю истину, буди мне в том преосвященнейший Мисайл, зде присутствующий, тогда в «простоте и богоугодной искренности» мудро правивший паствой Могилевской, буди мне он неложный свидетель.

Но, видимо, не положен нам покой здесь на земле. Я опять волею Божьей, – на юге, почти на своей родине, в Полтаве. Туда направлялся я, твердо памятуя слова Христовы: «Никоторый пророк приятель есть во отечествии своем». Здесь уже мне самому было вверено руководство всею жизнью

семинарии. Первые шаги мои воочию доказали, что опасения были напрасны. Здесь дети полюбили меня, и я хранил их «как зеницу ока». Господь помог мне устроить назидательную службу церковную, память о коей не исчезнет ни у меня, ни у моих питомцев никогда. Слышал я обвинения потом, читал даже печатно, что главное внимание я, человек «гимназического происхождения», обращал на службу Божию. Да, истину скажу: так было, ибо твердо верю, что храм святый – исходище всей духовной жизни и высшей и средней богословской школы. В идеях, сокрытых в неисчерпаемых глубинах словесного служения церковного, я нашел большое сходство (до тождества) с идеями св. ап. Павла, широкому боговедению которого я призван был наставлять юных своих питомцев. И часто, часто от текста посланий приходилось обращаться к стихирам, тропарям и канонам, и находить в них лучи света, которые, падая на богодохновенные страницы Павловы, уясняли их сердцам.

«Но я дошел до неразумия, хвалясь» теми благодатными сокровищами, которые рассыпал Господь на всех путях моей жизни, теми радостями и вдохновениями, которые, видимо, везде сопутствовали мне... Но были и тяжкие падения. Когда освободительное движение смешало свет со тьмою, среди адского мрака, помрачилось сердце многих моих питомцев, и они не узнали своего учителя и воздвиглись на него с яростью и мщением... А он, малодушно свергнув с рамен крест свой, бросил его в эту страшную тьму, а сам бежал, куда глаза глядят, лишь бы только спастись от ужаса, гонящегося по пятам, бежал, забыв, что ни один человек не был оставлен Богом, забыв о том, что покидает в семинарии много-много любящих сердец; бежал, устрашившись кучки опьяненных общим разгулом страстей юношей.

Кроткий владыка Полтавский Иоанн с миром и любовью напутствовал меня на далекий север, – меня, несшего туда горькие жалобы на глубокую нравственную трагедию свою. И, милостью неба, холодный север не был холоден для меня. Под сенью Александро-Невской лавры прослужил я в благолепных её храмах, насыщаясь службою Божией, целые два месяца, –

под покровом любви первосвятителя земли русской, а потом церковной властью получил назначение хранителя заветных святынь Кремля. Но дух мой все устремевал ко святому храму Божию, и в церкви 12 апостолов я, благодатию Божию, уставил и монастырскую службу и благовестие Креста. И великий крестоносец – народ русский, откликнулся на мой призыв: духовная трапеза исполнилась возлежащих, жадно ловили каждое слово и службы и проповеди простые сердцем, скорбящие душою, обремененные невзгодами, но любящие Бога и жаждущие духовного света, разбросанные по окраинам Москвы (многие в 5–6 верстах от Кремля) бедные люди. Они плакали и утешались от слов моих, и я плакал и утешался их смирением и слезами. И сколько раз хотелось, пренебрегши все условности, выйти на большую Кремлевскую площадь в какой-либо великий праздник, когда она бывает полна богомольцев, и в землю поклониться на четыре страны света этому великому русскому народу за его горячую веру, за любовь к родине, к святыням, к её прошлому, к её Царю православному, к истинной радости и счастью.

Владыка Московский призрел на мою жизнь в Кремле милостивым оком своим. Но он прозревал, что для моей духовной жизни необходимо докончить подвиг, самовольно оставленный мною... И он поднял брошенный мною на стогнах Полтавских крест духовно-учебной службы и снова, своею твердою святительскою десницей, возложил его на рамена мои. Отрицался я креста сего, но воля Божия о мне была непреклонна, и я любовью облобызал ю и отправился в Вифанию, созданную великим святителем Платоном, митрополитом Московским. Не скрою, что многое здесь на первых порах клонилось к тому, чтобы усугубить мою скорбь о великом кресте моем. Но я теперь тверже, чем когда, был уверен, что делаю дело не свое, а Божие, и «посему должен воздавать только благодарение Богу, всегда победители нас творящему», «ибо кто поемлет на избранныя Божия? Бог оправдывает их». Нашлись здесь добрые юноши (и немало их), которые откликнулись на мою любовь: они помогли мне устроить службу и благолепие церковное, и в прошлом учебном

году праздники воплощения Богу-Слова и Воскресения Жизнодавца Христа были отпразднованы здесь среди Вифанского леса поистине «любопраздненственными чинами». На классные уроки я здесь больше, чем где-либо, смотрел, как на кафедру церковную, старался ими зажечь лампаду Божию в сердцах добрых юношей; и я убежден, что ни одна слеза, из глаз моих скатившаяся при вдохновенном созерцании великого богословия Павла, не осталась безплодною для тех, кому много слезных капель придется источить в жизни.

Да, я понял, что благословен Бог, возложивший на меня так страшно сброшенный крест жизни. Благословенна и десница святителя Московского, твердо поставившего меня на прежний, Богом назначенный мне путь и твердо руководившего мною на этом пути.

Но вот от края далекого юго-запада послышался мощный голос святителя, призывающий меня к высшему служению, какое только возможно на земле. Этот голос принял я сердцем своим, как голос ангела Божия, и вручаю душу свою сему доброму пастырю Христову, да управит он, умудренный и долгим жизненным опытом, перенесший много испытаний, право правящий слово истины и спасения, – да управит он стопы мои шествовать по стопам Владыки и Господа узкий путь великого архипастырства.

Жажду воспринять на рамена свои заблудшую в горах и вертепах и Богом обретенную овцу, – т.е. тех из православного народа русского, которые по упорству и непокаянному сердцу «оставили Христа, Источника живой воды, и ископали себе кладенцы сокрушенные» и истаевают жаждою при горьких потоках самодовлеющей и самочинной земной мудрости. Но верю, что архипастырскими трудами святителей Божиих и они обретены для Бога и вечной жизни.

Понесши крест своего учебно-воспитательного подвига уповаю им с большей крепостью привлекать и тех словесных овец, «иже не суть от двора сего и тыя ми подобает привести» к Создателю всяческих.

Ныне, в великую предпразднственную субботу моей благодатной пасхи, предстою пред лицем сего

боголюбезнейшего собора, чая врачающей немощи мои благодати Святаго Духа, по вашим архипастырским молитвам. АМИНЬ».

Один из священников, уезжавший в годы Гражданской войны из России, попал при эвакуации Новороссийска на тот же пароход, что и еп. Гавриил и еще несколько епископов из б. Высшего Церковного Управления на юге России. В море их застал праздник Сретения. Священников ехало довольно много, да еще несколько владык; были облачения, некоторые архиереи успели, слава Богу, вывезти ценные вещи из своих ризниц и тем спасти их от поругания и расхищения безбожников коммунистов; были, конечно, и сосуды и св. антиминсы, так что можно было служить даже и литургию на пароходной палубе или в трюме. Больше того, курский еп. Феофан вез с собою чудотворную икону Курской Божия Матери Знамения, нашу Заступницу и Утешительницу в годы изгнания и скитания. Решили служить всенощную под Сретение. Но оказалось, что нет богослужебных книг, или во всяком случае они были где-то не на этом пароходе, а на каком-то другом транспорте. Как быть? Может быть, кое-кто и помнит отдельные песнопения, наиболее известные из последования этого праздника, в сущности не такого уже памятного по своему литургическому материалу, как, скажем, пасхальная служба, рождественская или крещенская, но, конечно, не все. Решили, что придется службу отменить или просто ограничиться пением тропаря и кондака, а наутро уже совершить литургию, которую, конечно, все знали наизусть. Но вот всех их спас преосв. Гавриил, который предложил провести всю службу безо всяких книг и нот. И действительно, он один пропел всю службу праздника, да еще с разными напевами и подобнами.

Такова была феноменальная память еп. Гавриила в богослужебных песнопениях и музыке. Нас, молодых студентов теологов, это, конечно, поражало, и мы благоговели перед ней; точно так же нам очень импонировало знание церковного устава во всех его мельчайших тонкостях и каверзных вопросах клиросного обихода. Казалось, что для еп. Гавриила нет и не может быть неясных и недоуменных вопросов в этой области.

Но тут же должен заметить, что если меня в начальные годы моего богословского образования поражал и интересовал устав как таковой, и я старался перенять от таких мастеров как митр. Антоний, еп. Гавриил и о. Петр Беловидов как можно больше от знания и умения служить, то со временем, овладев и сам в нужной мере (конечно, далеко не до идеала уставщичества) нашим уставом и литургической практикой, я охладел к этим тонкостям, и другое стало меня в литургике привлекать. Я прекрасно понял, что нет никакой нужды знать наизусть устав и все Марковы главы, прежде всего потому, что суть православной церковности и свободы евангельского духа не в рабствовании Типикону и не в буквализме уставщичества, а в «служении Богу духом и истиной». А кроме того, знание и понимание православной литургики вовсе не в этом выучивании наизусть всех возможных комбинаций церковного обихода, а в усвоении самих схем наших служб. Надо усвоить самую архитектонику наших последований, иметь в голове, так сказать, «скелеты»: вечерни простой, праздничной, великопостной, также и утрени, повечерия, чинов крещения, водоосвящения и пр. Если такие схемы запечатлелись в памяти, то данная служба, как бы она запутана ни была, легко и без ошибок будет проведена, все стихиры станут на свое место, богоординчен гласа перейдет, если это нужно, на место после первого седальна и будет пропета соответствующая катафасия.

Но очень скоро, под влиянием митр. Антония, еп. Гавриила, о. Петра и при чтении о. Павла Флоренского и книг Скабаллановича, а потом уже при изучении западного мира при знакомстве с трудами аббата Геранжэ по литургике, с его детищем Солеммским аббатством, любимым местом моего отдыха во Франции, с так называемым литургическим движением в среде католичества и т.д. я понял, где и в чем подлинная суть, истинная ценность литургики. Она, конечно, не в знании устава и Марковых глав как самоцели, не в начетничестве и уставщичестве и в щеголянии «чистыми номерами», когда какая замысловатая литургико-талмудическая комбинация может иметь место, а в проникновении в литургическое богословие, в раскрытии и систематизации

богословских идей нашего богослужения, в расшифровке сложной и замысловатой иероглифической иконы и богослужения данного праздника или чина.

Уставщичество, по меткому слову приснопамятной игумении Екатерины (гр. Ефимовской), удивительной русской женщины, прекрасной монахини и очень церковно и богословски образованной молитвенницы, уставщичество – это новозаветный талмудизм. Она говорила: «Тупиконщики (намеренно искажая «типик» в «тупик») – это талмудисты; все они узкие люди, озлобленные и почти всегда неврастеники».

Вот именно у владыки Гавриила и не было этой тупости в типиконстве. Он знал идеально устав; служил классически; сбить его неожиданностями было невозможно; в других он очень ценил и поддерживал этот же дух любви к уставности (позволю себе сказать, не к уставщичеству). Но вот почему он не был только уставщиком, а следовательно, и не «тупиконщиком»: он ценил выше всего дух и смысл празднуемого события, совершающего богослужебного последования. Он провидел сквозь ткань богослужебных песнопений, подобнов, нотных мелодий и прочее богословское значение этого праздника, его мистическую сущность, его метафизику, его «идейный мир». Он всегда любил озадачить студента теолога вопросом, какое самое замечательное по смыслу песнопение сегодняшнего дня, или почему положено именно такое евангельское чтение или ветхозаветная паремия. Обнаруживая ошибку молодого диакона или священника, он тут же объяснял, почему именно не надо так делать или произносить так, а не иначе. Песнопение и Типик поэтому были для него, а через него это передавалось и нам, не клиросной ветошью, не какой-то мертвой и малопонятной церковно-славянщиной, а отображением, живым отображением мира иных реальностей. Сквозь ткань богослужебных песнопений просвечивал головокружительный узор теологемм и догматов. Он, и в этом, конечно, влияние Скабаллановича, всегда любил вскрыть исторический смысл и происхождение данного возгласа, молитвы или песнопения. Он частенько, при объяснении уставных подробностей, делал примечание, что это особенность только Иерусалимского типикона, но никак не

студийского, и при этом, что очень важно, умел и старался внушить мысль, что Типикон православного богослужения не есть книга, упавшая с неба в готовом виде, а что она продукт долголетней, многовековой борьбы влияний, обычаев монастырей, мнений разных литургических авторитетов и пр. Он повторял неоднократно, что наш теперешний устав – это только узаконенный литургический обиход одной из самых, правда, знаменитых, но только одной обители, Саввы Освященного, а что ничем не худший Устав Студийский знал иную практику, а Устав патр. Алексия признавал и такие, например, отклонения, или что по так называемому «песенному последованию» допускалось то-то и то-то. Это он, еп. Гавриил, наш неакадемический Учитель литургики, внушил мне интерес к историческому анализу нашего богослужения, к сравнению наших обычаев с греческими и южнославянскими. Это благодаря ему я с жадностью накинулся на Дмитриевского, со всеми его для неспециалиста и для обывателя скучными и малопонятными описаниями рукописей Типиков и Евхологиев, на Мансветова, на Скабаллановича, на занятие богослужебными текстами, сравнение их переводов и вариантов и пр. Он поощрял нас заниматься первоисточниками, но все это им обильно орошалось духовной росой, вдохновением истинного художника, пафосом артиста. Из сказанного, вероятно, станет понятным, чем для нас, белградских студентов теологов, становился Устав. Станет понятным наше увлечение литургическим богословием. Станет понятным, почему я не стал уставщиком, «тупиконщиком», почему, любя устав, я ему никогда не рабствовал и не стал талмудистом.

К этому всему надо добавить, что еп. Гавриил был вдохновенным проповедником, глубоким богословом, не зараженным семинарской схоластикой, живым литургико-мистическим настроением воспитанным богословом, был и известным музыкантом и регентом. Но об этом всем ниже. Пока что постараюсь восстановить хронологическую канву наших встреч и нашего знакомства.

После описанных мною выше двух наших первых встреч я ближе познакомился с еп. Гавриилом на Страстной неделе все

в той же русской церквице на Старом Кладбище. Владыка приехал на всю Страстную седмицу в Белград из своего монастыря. Наши литургические возможности были тогда весьма скучны и несовершены: дьяконские обязанности у нас исполнял один студент, весьма бездарный в литургическом отношении, да и то в ту Страстную седмицу уехавший на Афон в экскурсию. Ризница наша была более чем скучная: два-три разрозненных священнических комплекта, архиерейского облачения не было вовсе, т. к. только у митр. Антония, не вывезшего из России ничего, было старенькое облачение, когда-то им в 1913 г. подаренное митр. Сербскому Димитрию в России, а теперь тем же Димитрием, уже патриархом Сербским, ему вновь отданное. Хор был неплохой, т.к. о. Петр сам был прекрасный регент, да и голосов было много. Молящиеся всегда переполняли храм, стояли толпой на дворе, забирались в церковь спозаранку. Добавить надо, что в довершение наших затруднений в ту самую Великую Субботу какие-то жулики взломали ночью дощатый наш сарай-храм и украли чудные сосуды и кое-какую утварь, собственность о. Петра.

Вот в этой скучной своими литургическими возможностями обстановке и появился на Страстной неделе владыка Гавриил со всем ореолом своей литургической классичности, своего уставщичества, своей регентско – музыкальной требовательности. О. Петр не особенно-то обрадовался такому гостю; неспокойно стало и нам, прислужникам, чтецам, псаломщикам и пономарям. Но никто не думал, что преосвященный пожелает служить без диакона, без ризницы, без соответствующего декоративного ансамбля, будучи так избалован в русских своих монастырях, семинариях, не говоря уже о храме Синодального Ризничего под Иваном Великим.

Первые дни Страстной прошли тихо. В Великую Среду вечером еп. Гавриил заявил о. Петру, что он собирается завтра, в Великий Четверг, служить литургию. Настоятель встретил это без особого восторга. Но делать нечего: пожелание высказано в решительной форме. Как же быть? Решили просить облачение в сербском соборе. Не без труда нам его дали, и надо сказать, красивое, вышитое облачение Обреновических времен. С этим-

то облачением и связан тот трагикомический эпизод, о котором я и собираюсь поведать. Но что же делать без диакона? Я осмелел и спросил владыку:

«Но как же вы, владыко, будете литургию совершать без диакона?»

«Ты думаешь, дитя мое дорогое, что я глупее твоего диакона? Мне диакон не нужен, только будет путать».

На следующий день я должен был дебютировать в качестве иподиакона, в частности, облачать архиерея. Я неоднократно видел, как ловкие иподиаконы посреди церкви расторопно действовали с очень сложным набором архиерейских одежд, застегивали, зашнуровывали, что-то перекидывали через голову, в результате чего маленький худенький, постный архиерей в ряске и клобуке превращался в иконописную фигуру, облаченную «во весь священный сан», во все византийское великолепие. Особенная премудрость заключалась в правильном складывании саккоса, а главное, большого омофора. Это, как известно, довольно длинная парчовая полоса, которая, если ее развернуть во всю длину, оказывается только до половины сшитой парчой на лицо; в другой своей половине парчовая сторона сшита с подкладкой парчи той второй половины. Иными словами, создается впечатление какой-то ошибки: будто бы неверно пришили изнанку одной половины к лицу другой и наоборот. Все это снабжено рядом петель и пуговиц, украшено крестами и звездой и, если все правильно сложить и каждую петельку пристегнуть к соответствующей пуговице, то архиерей, облаченный в эту хитроумную парчовую полосу, будет ее иметь перекинутой вокруг своей шеи и груди и плеч, со спускающимися вперед и назад двумя концами, но именно так, чтобы сзади образовалось над плечами за архиерейским затылком нечто вроде особого воротника. Это как бы какое-то оплечье, бармы, лорос византийского василевса. Но для всего этого нужно, чтобы звезда при складывании омофора была внутрь, а не вне. Тогда наложенный на плечи омофор и потом перекинутый и ляжет как ему по покрою положено. Но в нашем случае приключилась беда. Двое совершенно неопытных студентов теологов, в руках

никогда не державших этот хитроумный парчовый убор, сложили его не так, как надо, т.е. звездой не внутрь, а вне. Владыка, конечно, на это внимания не обратил, да и не должен был заботиться о том, чтобы взявшиеся иподиаконствовать правильно складывали омофор. В сознании преосв. Гавриила это было азбучной и самоочевидной истиной. Вот мы и начали мудрить с неправильно сложенным наследием византийских императоров. Положили на плечи и оказалось, что почему-то какие-то петли не соответствуют нашитым на саккос пуговицам; потянули в одну сторону, потянули в другую, а толку мало. Решили передвинуть несколько в бок. Вышло что-то косое, и чувствовалось, что это мало соответствует замыслу шившего омофор. Решили все же не смущаться и, как дело и не казалось порочным с самого начала, мы дерзнули омофор перекинуть через голову. Перекинули. И о, ужас! Вместо того чтобы лечь, или, точнее, встать таким поднятым воротником позади владычной головы, за его затылком, омофор вдруг закрыл собою архиерейское лицо, встав в поднятом виде перед ним. Мы совершенно смутились, не зная что делать дальше. Ясно было, что мы провалились на этом первом экзамене по архиерейскому церемониалу. Раздался раздраженный высочайший тенорок еп. Гавриила, обращенный к о. Петру Беловидову:

«О. протоиерей, где вы таких дураков достали? Я таких идиотов в жизнь свою не видел. Уберите их...»

Кинувшийся на выручку о. Петр, едва сдерживая улыбку при виде полузадушенного архиерея, спас положение. Омофор был снят, правильно сложен звездою внутрь, и, водруженный на плечи владыки, без труда застегнутый на все ему положенные пуговицы и перекинутый через голову, лег, как полагается, на свое место, своей великолепной златокованой звездой украсив сзади плечи и голову святителя. Наше смущение было очень велико. Молитвенное настроение было поколеблено и этим конфузом, и резким замечанием архиерея. Хорошо, что все это было не посреди храма, а в алтаре, сраму было меньше.

Но уже совершенно меня сконфузил владыка, когда после службы, разоблаченный, успокоенный, но и утомленный в своем

артистическо-литургическом пафосе, он подозвал меня к себе и... попросил у меня прощения:

«Ты меня, дитя дорогое, прости, что я так тебе сказал резко, но ведь нельзя же так складывать омофорий...»

Мне от этого было еще совестнее, чем от моего неудачного дебюта. Таков был мой первый шаг перед строгим критиком, перед «литургистом всея Руси» еп. Гавриилом.

В тот год Благовещение падало на Великую Субботу. Помню совершенно ослепительную проповедь еп. Гавриила. Это была сплошная парча литургических текстов и образов, кантилена двух мотивов Благовещения и Гроба. Начало нашего спасения и Голгофы, так сказать, художественный «крест богоородичен», написанный рукой большого мастера.

Владыка Гавриил был несомненно выдающимся проповедником нашего времени. Его проповеди, раз слышанные, не забывались, оставляя неизгладимое впечатление. Если в разнообразии типов проповедников бывают и обличители, как Савонарола, и богословы, как Филарет и Антоний (Храповицкий), и толкователи Писания, как Златоуст, и народные проповедники, как Родион Путятин, и такие витии, как наш прославленный Иннокентий (Борисов), то надо сказать, что еп. Гавриил был проповедником артистом, художником, поэтом. Артистическое вообще лежало в его натуре. Понимание красоты, служение ей и воплощение ее в своем слове, музыке, священнодействии было его отличительным свойством. Все ремесленное, штампованное, серийное было ему чуждо. Поэтому и в своем проповедании, и в толковании Писания, и в богословствовании он был, прежде всего, художником и творцом. Это было всегда что-то новое, свежее и острое. Объясняю я это, главным образом, тем, что еп. Гавриил, как и митр. Антоний, не были отправлены семинарской схоластической рутиной. Они, как и Хомяков, были всегда интуитивно чутки к духу Писания и отцов церкви, не засущенному схоластикой и учебником. Они были живые учителя. В этом и сила их влияния. Чувствовалось, что это «глаголы вечной жизни», от которых некуда идти.

Поэтическая натура еп. Гавриила, кроме того, умела облекать свои мысли в исключительно красивые формы. Эта красота была, конечно, строго церковная и принимала большей частью образы библейские или еще чаще литургические. Слушая его, можно было думать, что держишь в руках что-то филигранное, ювелирное, или что перелистываешь средневековую псалтырь с миниатюрными заставками какого-то великого мастера. Нельзя не признать, что он слишком много пользовался этой филигранностью, что не могло не утомлять. Слушая его в пятый или десятый раз, понимали, что это может стать и утомительным. Создавалось впечатление, что живешь в какой-то ювелирной, миниатюрной обстановке, что в конечном итоге приедалось.

Но это относится скорее к форме, чем к содержанию. По содержанию его поучения были всегда полны, всегда интересны, свежи и назидательны. Толкуя ли сегодняшнее зачало Евангелия или объясняя смысл какой-либо стихиры или раскрывая для большинства потаенный смысл канона св. Андрея Критского, он всегда умел найти какую-то неизвестную или незамеченную подробность и смысловое значение притчи или песнопения, казалось бы, с детства уже известное. Особенно он бывал хорош в поучениях на великие праздники, особенно на Страстную неделю. Когда перед ним была тема сочетания Креста и Благовещения, Гроба и Богоматери, Вифлеема и Голгофы и под., он бывал неподражаем. Все это, конечно, повторяю, украшалось исключительно умелым пользованием богослужебно-поэтическим материалом. Проповедь становилась какой-то парчовой тканью, замысловатым, по золотому фону писанным орнаментом.

Но вспоминаются в связи с его проповедями и неизбежные в жизни курьезы и неожиданности.

Болезненно толстый от водянки, мнительный, как многие духовные лица, он очень боялся простуды и сквозняков. Он мог вдруг неожиданно во время службы громко потребовать закрыть окно или входную дверь, а один раз и сам кинулся с амвона посреди церкви запирать входную дверь, несмотря на то, что на дворе стояла июльская духота и дышать было нечем. О

сквозняке и мечтать-то в тот день было нельзя. Такими выходками он, конечно, разбивал цельность и эффект своих проповедей. Но бывало и еще хуже.

Нельзя не согласиться, что кашель человека, постоянно и методически повторяющийся, может через какой-то промежуток времени извести утомленного или нервного человека. Еп. Гавриил совершенно не выносил кашля во время своих проповедей.

Помню, что он говорил поучение на день Рождества св. Иоанна Крестителя. Он очень ярко живописует ветхозаветный храм, святилище, кадильный алтарь, священнодействующего Захария, явление ангела. А перед ним где-то в не особенно полной церкви стоит какой-то юноша и равномерно, словно по метроному, кашляет да кашляет. Причем таким чахоточным мелким кашлем: кхе-кхе, кхе-кхе. Владыка начинает нервничать. Проповедь течет своим миниатюрно-ювелирным течением, а малый посреди церкви все кашляет, почти перед самым проповедником. Маленькие, словно звериные, глазки епископа раздражительно щурятся и бегают. Но происходит в нем борьба нервного и больного человека с художником, вдохновившимся своим образом.

«И се входит Захария в святилище. Перед ним осеняющие алтарь Херувимы, и наполняется святилище реющими окрест бесплотными силами». (Юноша все только покашливает.) И о, чудо! Вдруг среди златошвенных ангелов по стенам алтаря видит Захария и живого Ангела, стоящего одесную страны алтаря кадильного. В священном изумлении и трепете недоумеет Первосвященник. И се обращается к нему Посланец вышних сил: «Да перестань ты кашлять...»

Нечего и говорить, каков был эффект такого обращения «Посланца вышних сил». Юноша, кажется, исчез, молящиеся не могли не рассеяться, сам епископ был раздражен до крайности и на этого бедного юношу, и, конечно, на самого себя. Впрочем, он, как и митр. Антоний, никогда не терялся в служениях, проповедании, лекциях. Это свидетельствовало о какой-то исключительной простоте духа и несамолюбии.

Еп. Гавриил был не только знатоком устава и литургистом первой величины; он был и большим артистом богослужения. Это был великий мастер и творческий исполнитель церковной службы. И замечательного, что в служении он совершенно терял свою исключительную, почти карикатурную толщину. Пока на него смотреть, когда он в рясе (добрьми руками церковных дам ему подшитой и починенной), со старенькой панагией, довольно-таки потускневшей, без клобука, а в какой-то католической (так носят священники в б. Австрии, в «преко») шляпе, он казался до невероятия толстым. Болезненное утолщение лица, рук и всей фигуры как-то не гармонировало с представлением об архиерее в его привычном облике, еще меньше об аскете-монахе. Но стоило только видеть владыку в мантии или еще лучше в полном архиерейском облачении, с митрой, окруженного сонмом священников, и все утрированное, болезненное, ненормальное исчезало в благообразии и традиционном церковном облике архиерея. Выдавало, правда, только одно – слишком уж высокий тенорок, дребезжащий на каких-то нотах. Голос, надо признаться, был у него не архиерейский, не солидный. Но и к этому привыкали. А что касается жестов, благословений, самой осанки, благообразного сочетания его молитвенного настроения, поэтического вдохновения и пышной архиерейской декоративности, – все это было выше всякой похвалы; все это было классично и до предела артистично. Странно: толстейший епископ Гавриил поразительно красиво кланялся – величественно, умеренноиконописно, скажу даже, приветливо.

По сравнению с боярски-сановитым и несколько монументальным митр. Антонием в его служении, у еп. Гавриила чувствовалось гораздо больше динаминости, расплывленности, звонкости. В нем сильно сквозила атмосфера повышенной нервности, которая могла легко перейти в раздражительность. Это последнее, думается, было следствием его уставщичества. Уставщики, требовательные к мельчайшему исполнению известных тонкостей, очень легко раздражаются при ошибках или неисполнении той или иной тонкости. Отсюда (я это часто замечал) у многих, если не у всех, уставщиков во

время самого исполнения богослужения, будь то алтарь или клирос, легко срывается резкое слово, часто и обидное для ошибающегося, и постоянно слышится в разговоре критика, часто недоброжелательная, по адресу того или иного лица. Тут не щадят ни возраст, ни сан, и очень легко почтенного старца, во всех отношениях достойного подражания и уважения, раздраженно осуждают за незнание службы или за ошибку против правил типикона. Подобные резкие замечания или даже и обидные возгласы из алтаря или клироса, во-первых, смущают того, кто ошибку допустил, во-вторых, доходят до слуха окружающих, в-третьих, произносятся почти всегда с раздражением самих критиков, и, в-четвертых, в данном конкретном случае уже ничему не могут помочь, т. к. ошибка допущена. Проще и спокойнее после службы один на один разъяснить несведущему его промах и предупредить о возможных опасностях и в будущем. Митр. Антоний частенько не сдерживался и во время службы пускал «дурака» или «болвана», но делал это безо всякой злобы; но все же он себя и сдерживал, ограничиваясь неодобрительным цоканьем языком или мычанием в бороду. Владыка же Гавриил почти всегда в случаях ошибок бывал резок, оскорбителен и нервен. Я уже повествовал о моей ошибке с облачением, в чем я был кругом виноват, взявши за дело, о котором не имел ни малейшего представления. Бывали и другие подобные случаи. Помню раз, иподиаконствуя при нем, я забыл, что после хиротонии всегда бывает осенение двукирием и трикирием, и по законченном рукоположении во диакона о чем-то замечтался и опоздал взять подсвечники для благословения. Архиерей недобро посмотрел на меня, быстро обернулся лицом к народу, осенил просто руками и, когда снова повернулся в алтарь, бросил мне какое-то обидное словечко. Я отошел в сторону и больше никогда не иподиаконствовал у владыки Гавриила. Меня, кроме оскорблении моего самолюбия (а я очень самолюбив был всегда), совершенно и надолго лишало молитвенного настроения резкое слово или смешок на клиросе и в алтаре. Этот мой проступок был очень заметной ошибкой в алтаре, для специалистов, но совершенно неприметным для народа, если

бы владыка не пустил во всеуслышание свою резкую реплику. А так и народ обратил внимание. Правда, после литургии, вновь успокоившись, еп. Гавриил был со мною вновь ласков и постарался сгладить инцидент словами:

«Дитя мое, когда апостолы восходили на кровлю дома, или сходили с нея, после приятия Св. Духа, они не шли размежленной походкой. Св. Дух – это огонь. Нельзя спать...»

Я зла не затаил против любимого мною архиерея, но уже больше не прислуживал ему. Он это заметил и кому-то говорил о моей несмиренности (чего я и не отрицаю), но со мной у него никаких больше объяснений не было. Я настолько в этом болезненно чувствителен, несмирен и осторожен, что после раз мне сделанного обидного замечания не буду уже больше сослужить данному лицу. Я в двух церквях, где мне приходилось подолгу и часто бывать, перестал служить по той же причине. Признаю, что это известная гордость, но, с другой стороны, это же и желание молиться и служить там, где мое молитвенное настроение не будет оскорбляемо и разрушаемо насмешками и обидными замечаниями. С другой стороны, я очень всегда благодарен за всякое дружески сделанное мне примечание или поправку, поскольку они не нарушают моего мира и молитвенности в момент службы.

Тот же еп. Гавриил много мне указал ошибок в службе, но указывал это спокойно, не во время богослужения и не в болезненной форме. Таков был всегда архиеп. Анастасий, который никогда не делал замечаний во время богослужения, а просто и очень спокойно, парламентарно вежливо и обязательно наедине делал свое внушение. Это я считаю необходимым и основным принципом в отношениях священника, архиерея, регента или уставщика на клиросе, который должен проводиться в духе мира и уважения. Еще раз вспомню мать Екатерину: «Уставщики – неврастеники». Прибавлю от себя: часто и озорники и обидчики.

Знаю, что резко и без стеснения действуют обычно регенты и клиросные головщики, особенно в монастырях, в простецких провинциальных церквях или у старообрядцев. Но стилизации ради, частенько этот же стиль усваивали себе и любители

регенты или молодые священники из желания более походить на «настоящего» регента или знатока устава или чтобы копировать виденных ими, но далеко не этим знаменитых и достойных подражания архиереев, как митр.

Антоний или еп. Гавриил. Знаю, что такие резкие замечания надолго, а иногда и навсегда отталкивали от клироса, а знаю, что и от духовной школы, некоторых более деликатных юношей, которые «стилизации ради» не хотят терпеть в церкви хамства и не могут совместить служение храму и святейшему таинству Евхаристии с руганью, смешками и обидными прозвищами. Скажут: не достает таким смирения. Может быть, но отвечу; а тем, кто себе это позволяет, не достает и воспитания. Скажут: интеллигентские повадки. Отвечу: скорее избыток религиозного благоговейного чувства к тому, чего нельзя делать предметом поругания. И мою повышенную требовательность в этом отношении не смогли никак уменьшить резкости любимых мною владык Антония и Гавриила.

Но некоторые замечания еп. Гавриила остались навсегда в памяти. Он стоит на горном месте. Иподиаконы должны расстегнуть ему великий омофор (тот самый, что я так неудачно сложил когда-то) и, перекинув его через голову, положить на руки мальчику прислужнику. А мальчик, устав от службы и замечавшийся, не подошел вовремя.

Вдруг владыка своим высоким тенорком:
«Да не созерцай же! Принимай омофорий...»

Другой раз, когда я служил литургию один, владыка стоял в алтаре. После окончания службы он меня мило приветствовал с принятием Св. Таин, похвалил за служение и заметил, что я правильно произнес заупокойную ектению так, как указано в служебнике, т.е. «Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются».

«В этом прошении очень часто ошибаются, либо коверкая слова, либо что-нибудь вставляя или убавляя. На днях слышал, как один священник сделал в одном прошении четыре ошибки, а именно: «Яко да Господь Бог наш учинить их, идеже вси праведници упокоеваются».

Я потом сам часто замечал, как даже старые и опытныеprotoиереи делали или одну, или все эти же ошибки, т.е. либо от себя добавляя «наш» и «вси», либо превращая «праведни» в «праведници» и «упокояются» в «упокоеваются» Скажут: это мелочь. Совершенно верно, но благолепие службы создается на мелочах. Маленькая неточность или фальшь всего на полтона портит все впечатление.

Потому же владыка, как и митр. Антоний, с неодобрением относился ко всем отсебятинам в служении, ко всем кривляниям, кликушествам или разным проявлениям нецерковной безвкусицы. Потому-то он не выносил модернизма в пении, исправленных «Сергиевских» богослужебных книг, где «вечеря Владычня» вместо «странствия»; «сеченным сечется» вместо «сеченное сечется» и прочее. Потому-то критически относился и к батюшкам из интеллигентов или б. военных, падких на отсебятину, эффекты и новаторство.

Владыка полюбил нашу белградскую церковь, маленькую, самодельную, утешающую повседневные скорби несмирявшихся перед неумолимой бедой изгнанников. Он не столь часто служил в ней (хотя, в общем, любил служить, особенно, когда у нас появился прекрасный диакон и хор все больше и больше улучшался), сколь любил иногда постоять всенощную или литургию, когда служил кто-либо из белградских штатных священников или нас, приезжавших на вакант из семинарий иеромонахов или приходских священников с сербского провинциального прихода. Придет, бывало, ко всенощной и станет в диаконнике (жертвеннике), где только одна красная лампадка мерцает перед иконой. Торопливо войдешь алтарным входом ко всенощной, чтобы не опоздать. Настоятель был строг и не допускал неаккуратности, а времени было мало при большой занятости: и служба в статистике, и лекции, или же по окончании Университета, в мои битольские годы и библиотека, в которой надо поработать, и свидания с разными людьми. Словом, войдешь в жертвенник, а там уже сидит на стуле несчастный, толстый, с мучительной одышкой владыка Гавриил, приехавший по какому-либо делу из монастыря.

«Здравствуй, дитя!»

«Благословите, владыко. Как Ваше здоровье? Как спасаетесь?»

«Ну какое тут спасенье с таким пузом. Э-эх...»

«А почему Вы, владыка, тут? Вы бы в алтаре встали».

«Не-ет, благодарю вас. Чтобы мне твои диакона кадили каждую минуту и все время кланялись? Не-ет. Я тут помолиться хочу. Довольно мне накланялись диакона да попы. Тут лучше».

Принесешь, бывало, ему орлец и постелешь под ноги.

«Спаси тебя Бог, дитя мое...»

И довольно звучно поцелует. Любил он громогласно лобызаться. А я, по правде, этого не жаловал обычая.

Стою где-нибудь в сторонке.

«Владыко, благословите шестопсалмие почитать».

«Ступай, ступай с Богом. Бог тебя благословит, фрателле.

(Так, кажется, по-румынски или молдовански.)

Читают кафизмы, и чтец где-нибудь соврет в ударении. Владыка заметит и жалостно закивает головой. Значит, недоволен.

Запели канон. Идет служба св. пророку Илии. Канон читает наш второй регент, студент моего курса, бывший один год в Киевской Академии, голосистый, музыкант, уставщик и спортсмен, к тому же без лести преданный почтитель владыки Гавриила до благоговения, милый Леня Маслич. (Он погиб в каком-то альпинистском предприятии уже во время войны в Австрии.) Его почему-то еп. Гавриил называл «Лампад Ливериевич». Действительно, по какому-то метафизическому смыслу именования он был именно не Леонид Иванович, а Лампад Ливериевич.

«Это кто читает? Лампад Ливериевич?.. Аты знаешь, дитя мое, какое самое замечательное песнопение в сегодняшней службе? Знаешь, или нет?»

Недоумеваю, но владыка вдруг делается серьезным:

«Во время службы не надо разговаривать».

Помолчали некоторое время, я стараюсь напрячь внимание, сообразить, что в особенности замечательно для литургического облика огненного пророка Ильи. Владыко не

выдерживает зарока не разговаривать и, поманив пальцем, заставляет нагнуться к нему и вполголоса начинает объяснять:

«Запомни: в девятой песне канона замечательный есть тропарь. – И тут же наизусть цитирует: – «Почто Илия жесток человек еси, Израиля прегрешения терпети не можети, взыди ты ко мне, да аз доле сниду...»

Я много думал под влиянием этого замечания владыки, поразился глубиной этого христологического тропаря и даже когда-то потом написал статью об этом под заглавием «Второй Предтеча пришествия Христова» в одном сербском епархиальном журнале, не помню теперь в каком. Действительно, замечательная мысль в связи со всем обликом грозного, огненного и нетерпимого пророка. На смену ему, не только грех, но и грешника уничтожающему, идет «глас хлада тонка», страдающий за грешники и им сострадающий Христос Спаситель.

В алтаре кто-то из мальчиков начинает от томительности долгой службы подпевать хору, и поет неправильно, фальшивя и тем нервируя болезненную музыкальность еп. Гавриила:

«Боже мой, Боже мой. Здесь, кажется, кто-то поет. Какой ужас».

Подпевание немедленно умолкает.

У преосвященного Гавриила были очень хорошие отношения с сербами, при этом из самых разных слоев населения. Его чтили и любили сербские архиереи, с которыми ему приходилось встречаться как в своем монастыре, так и в Карловцах и в Белграде; его очень уважали и любили священники окрестных деревень и монахи соседних монастырей Фрушкой Горы; нечего и говорить, что его особенно любили простые селяки. Все это объясняется чертами его личности. Прежде всего, несмотря на всю свою нервность и подчас раздражительность во время службы, он был очень доступный, добрый и вежливый человек. Во глубине души он был то, что сербы называют «господин-човек», что может соответствовать нашему «барин» или по-английски «джентльмен». Он всегда охотно и подолгу разговаривал со встречными селяками, простыми бабами, детьми; всем умел и хотел сказать что-

нибудь ласковое и приятное. Толщина его и весь его облик как-то располагали к нему. Но особенно он импонировал своим знанием сербского языка. Это надо вменить в особенную заслугу преосвященному Гавриилу. Надо сказать, что в огромном своем большинстве русские так и не научились не только хорошо, но мало-мальски правильно говорить по-сербски. О русско-сербском диалекте и коверкании слов ходило множество анекдотов. Но хуже другое: русские по-своевременному им высокомерию и не хотели учиться по-сербски: «Вот еще, стану я учить и тратить время на эту глупость». Изdevались над сербскими словами же и выражениями, острили над этим, и не всегда умно. А если бы приложили хотя бы малое усилие и интерес, то узнали бы много поучительных вещей о происхождении наших же русских выражений, корней, слов. Вообще надо сказать, что в массе своей эмигранты проявили себя в Сербии неделикатно и неблагодарно. Заранее считалось, что наши заслуги перед сербским народом настолько велики (хотя следует признать, что наши ошибки по отношению к ним, сравнительно с нашими совершенно ошибочными симпатиями к болгарам, гораздо многочисленнее), что сербы будто бы обязаны нам помогать. Относились русские к ним с нескрываемым высокомерием, часто насмешками, а иногда и оскорблениеми. Что же касается языка, то его мало кто постарался выучить. Зато тех эмигрантов, кто захотел приложить усилие, заинтересовался и народом, и его историей, и его дивным, совершенно исключительным эпосом, и его языком, сочным, образным, а в известных областях и очень музыкальным, несмотря на некоторую его неполнозвучность, — сербы особенно ценили и любили. Говорю это по опыту своему, своих близких друзей и тех вообще, кто с предупреждением и почтительно пошел к сербам служить им, отблагодарить их за спасение и лучше узнать этот замечательный, геройский и симпатичный народ.

Так вот владыка Гавриил достаточно хорошо научился говорить по-сербски. Я объясняю это его артистической способностью имитировать и его музыкальностью. Я заметил, что имитаторские способности очень помогают изучению

языков. А еп. Гавриил обладал этой способностью в полной мере. Кроме того, он прожил долго в сербском монастыре, среди сербских монахов, селяков рабочих и в общении с окрестными священниками. Сам он в шутку говоривал, что частенько он в монастыре не видал никого, кроме старого пса «Швинглера», с которым он и научился говорить. И говорил он не столько может быть стилистически правильно, сколь музыкально и диалектически верно. Выговор у него был «пречански», т.е. из Воеводини, из б. Австрии, несколько певучий и лениво растянутый.

Это особенно дополнялось еще и тем, что любитель церковной музыки и большой ее знаток, владыка оценил красоту сербских церковных мелодий и народных песен. Сербское осмогласие очень трудное, витиеватое, кудрявое, с множеством коленцев, припевов, вариаций. Это все еп. Гавриил и постиг и полюбил. Полюбил до увлечения. Этим он, конечно, импонировал сербскому церковно-национальному самолюбию.

Помню как-то на улице, около белградской русской церкви, он меня поразил своим отношением к сербской церковной музыке. Это было еще в мои студенческие годы, когда я, еще не окунувшись в сербскую стихию, не оценил еще всей красоты этих мелодий. Мы шли по улице и заговорили о сербских напевах. Я что-то по молодости самоуверенно небрежное сказал об этих напевах. Владыка на меня критически и строго посмотрел своими маленькими глазками и поправил меня.

«Напрасно ты так судишь. Ты, вероятно, не дал себе труда поглубже вникнуть в эту музыку и потому так судишь. Ты все еще остаешься в привычных наших русских представлениях, что лучше нашего пения нет ничего. Да еще при том в попорченных бахметьевских переделках. А ты вот послушай этот замечательный догматик: «Кто-о-о тебе не уложит, Пресвятая-я-я Де-е-ево, кто-о-о не восхвалит твоего Пречи- и- истого ро-о-ождества...»

И не стесняясь тем, что мы на улице, вытянув указательный палец руки и дирижируя им в воздухе, почти совсем прищурив свои и без того маленькие глаза, он запел эту очень кудрявую и изумительную мелодию. Прохожие смотрели с некоторым

изумлением на этого непомерно толстого архиерея в старенькой ряске, панагии, пречанской шляпе и молодого высокого «руса». Архиерей поет и в такт себе машет рукой с вытянутым пальцем. Кто-то из прохожих вежливо поздоровался.

«Добар дан, Господине, добар дан. Шта радите?..»

И, вежливо приподняв свою широкополую шляпу, владыка приветливо раскланялся с совершенно ему неизвестным сербом.

Я владыке благодарен за пробуждение интереса к сербским мелодиям. Потом, уже в семинарии, когда я изо дня в день в течение десять лет ходил в сербскую церковь с семинаристами, и сам впоследствии служил под это пение, я его с увлечением слушал, от души полюбил и оценил. В нем сохранилась нетронутость наших древних греческих и знаменитых напевов. Умилительнейшая лирика в шестом гласе, трагический «падения» в пятом, торжественность стихир четвертого навсегда меня пленили, что бы уже не говорить о непревзойденном. «Тебе одеющагося светом...» гораздо более трагическом, чем наше Турчаниновское.

С большим уважением и всегда немного юмористически говорили о нем его сербские собратья епископы. От митр. Иосифа, еп. Николая (Велимировича), пок. священномученика еп. Саввы (Трляича) и самого патр. Варнавы я всегда слышал только хорошее о владыке Гаврииле. Уважали его за поразительное знание литургики, за его проповеди, за его красивое служение, за его хороший сербский язык. Юмор же объяснялся и тем, что владыка Гавриил не чуждался, как иные высокомерные русские епископы, общества их сербов, ходил в Карловцы к ним в гости в их комнаты в патриаршем дворце, смешил их своими рассказами (о юмористических наклонностях владыки скажу ниже) и своими сочными сербскими выражениями, интонациями пречанского диалекта. Его любили угостить. Владыка сам очень любил затрапезную беседу. Любил пред сербами показать свое знание их напевов, чем их очень умилял. Не гнушался иногда какую-нибудь сербскую национальную песенку спеть, чем их уже совершенно трогал.

«Чини се чини, по месечини...» и, полузакрыв глаза, с очень верными какими-нибудь интонациями выпевал нарядную мелодию.

В нем не было высокомерия и гордости. Он был очень человечен, широк, доступен. В его иронии о других я не замечал зла. Он всегда был благожелателен. Неприятен он был только во время своих несдержаных выходок на службе. Тогда он бывал и резок. А в жизни от него исходило добродушие, вежливость и милый юмор.

С особенным теплом вспоминаю я преосвященного Гавриила на фоне тех бесед и угощений, которые он любил устраивать у себя. На той квартире, которая была нанимаема для митр. Антония неподалеку от русской церкви и куда он переехал из Патриархии, останавливались и другие приезжавшие в Белград русские владыки. Так и еп. Гавриил, нередко появлявшийся в Белграде, останавливался в этой маленькой, из трех комнаток квартирке. Он приурочивал свои приезды к праздникам, если почему-либо сам митрополит не мог приехать из Карловцев. Тогда владыка служил в русской церкви, обходил своих друзей в Белграде, отводил с ними душу в беседах и воспоминаниях о прошлом, устраивал свои дела, если таковые накапливались, и в один из вечеров объединял вокруг себя своих «молодых друзей», т. е. тех студентов Богословского факультета, которые были ему известны по церкви. Тогда еп. Гавриил требовал принести из по соседству находившейся какой-нибудь русской столовой или ресторана ужин и угощал нас, всегда недоедавших студентов. Приносилось три-четыре- пять порций каких-нибудь котлет или рыбы, фрукты, бутылка-две вина. Надо сказать, что владыка был беден, как и все архиереи наши. Средств не было, конечно, никаких, да и откуда было их взять? Никаких жалований они получать не могли. Треб у них быть не могло. К описываемому времени владыке Гавриилу пришлось по состоянию здоровья отказаться от должности законоучителя в одном из русских женских институтов. Оставался только один знаменитый сербский «размен». Это было то воспомоществование, которое благородный и щедрый сербский народ, несмотря на свое

разорение после трех последовательных войн (Турецкой, 1910, Балканской, 1912 и Великой, 1914–1918 гг.) давал приехавшим к нему русским беженцам. Сначала выдавалось всем без исключения по 600 динар на человека, потом это было уменьшено до 400; с течением времени стали, разумеется, ограничивать и эту стипендию. Ограничили число стипендиатов. Выдавали студентам по 600 динар, старикам и немощным. Всем работоспособным размен прекратили, что и было вполне справедливо. Вообще я считаю, что эти длительные стипендии, субсидии, размены и пр. служили в большинстве случаев к созданию известной паразитной психологии, к распущенности, расслабленности воли. То же я наблюдал и во Франции при легкости выдачи и получения так называемого «шомажа», т.е. пособия безработным. Это пособие приучает человека к легкости принимать деньги ни за что. Работы искать тогда человек не хочет, сводит свои потребности к минимуму, постепенно опускается и, что самое печальное, считает, что такие воспомоществования обязательны, что сербский народ, которому мы столько в свое время сделали, должен нам помогать. Я с самого начала был против этих разменов, и как только, после двух месяцев по прибытии, получил службу, отказался сам от размена и не захотел записаться даже и на студенческую стипендию. Этому удивлялись, меня ругали за снобизм, за донкихотство, но я и по сей день считаю себя правым. Больше того, мне жгли руки и теперь еще лежат на совести те деньги, что я получил в первые два месяца. Эти стипендии надо было с самого начала давать только старым, детям, студентам и вообще учащимся, с требованием, чтобы эти последние отработали сербскому государству эти деньги, или вернули бы их по получении ими прочного материального положения. Или же надо было бы давать скорее деньги на обзаведение каким-либо хозяйством, ремеслом или предприятием. Это, впрочем, и делалось разными беженскими организациями (Державная комиссия, Гор. Союз, Кр. Крест и пр.) и, надо сказать, породило и тут массу недобросовестности и мошенничества. Потом были созданы особые дома для престарелых, что очень правильно. Прослужившим более

десяти лет на сербской службе стали давать пенсию, что исключительно благородно для сербского народа, который и сам-то был не в блестящем положении. Но что касается наших архиереев, престарелых генералов, из коих некоторые еще сами участвовали в Русско-Турецкой войне 1877/78 гг. и других заслуженных деятелей, то, конечно, такие размены или стипендии были вполне оправданы.

Ну, словом, и владыка Гавриил получал свои 600динариев, которые, при даровом столе и квартире в монастыре Привиной Главы, были для него подспорьем и, так сказать, карманными деньгами. И вот на эти- то свои получки владыка и устраивал эти наши студенческие ужины. Все было очень скромно; если это и были «симпозионы», то, конечно, скорее в духовном смысле, чем в буквальном. Этим «симпозионам» я благодарен в высшей степени и храню о них доброе воспоминание, как о незабываемых беседах.

Они очень напоминали антониевские чаепития, но оттенок все же был иной. У митр. Антония был, по его же выражению, «каравансарай», сутолока, беспорядок. Приходил кто хотел, говорили о чем попало, о. Феодосий, он же и Федя, заливался своим тенористым смешком, хлопая себя по коленкам и безудержно остря и балагуря, стараясь во многом подражать своему Великому Авве. Тут, у еп. Гавриила, не то. Не приходили к нему, а он звал. И при этом звали немногих, так сказать «избранных». Вместо нескончаемого чаепития – ужин. Феди нет, шуму тоже нет. Избранные – это по преимуществу его прислужники по церкви, чтецы, певцы, а главное, любители или уже «знатоки» богослужения и устава, музыки и церковной гимнографии. Поэтому и темы были специальные: начиналось с какой-нибудь службы, стихиры, тропаря, подобна; переходили вообще на литургическое богослужение, говорили о Романе Сладкопевце и Кукузеле, о Косьме Майумском и об его отличии от поэтического творчества Иоанна Дамаскина, о савваитах, студитах, итало-греках и прочее. Начинались воспоминания о Скабаллановиче, о старообрядческих службах, о Синодальной Ризнице, Московской и Киевской Академиях, о том, что представляет собою «Толковый Типикон» или «Праздники»

Скабаллановича, о неисследованности еще «песенного последования», о Мансветове, Дмитриевском. Владыка начинал увлекаться, раскрывал глубины своих сокровищ, объяснял смысл отдельных песнопений или моментов литургии, поминал имена и дразнил ими нас, имена Кавасилы, Ареопагита, Максима Исповедника, Симеона Солунского.

Благодаря владыкам Антонию и Гавриилу богослужение не сделалось для меня чем-то внешним, мертвым и безгласным. Они меня научили вникать в богослужение, понимать его и искать в нем материала и путей для богословствования. Это течение, как ни странно, должно было в русской церкви явиться не от схоластов и семинаристов. Макарий Булгаков и Филарет, а за ними и другие догматисты русской церкви не ведали этой сокровищницы. Жили веками около литургических богатств и не вникали в них; с какой-то своеобразной расточительностью, или, лучше, небрежением, не пользовались этими сокровищами. Характерно, что когда в Московской Академии в 1905 г. о. И. Орфанийский защищал свою магистерскую работу об «Историческом изложении догмата искупления Спасителя», кто-то из оппонентов ему заметил о желательности использований наряду с другими источниками и наших страстных служб, нашего Октоиха и вообще литургического богатства; диспутант не нашел ничего лучше ответить, как недоуменным вопросом, да можно ли вообще привлекать литургический материал к научному использованию и им доказывать и подтверждать свои научные предположения и положения. Это после 19 лет со дня окончания Академии, после многих лет священства и служения, после многих лет работы над этой темой. Старое кадровое, схоластическо-семинарское духовенство не знало этого метода и недоверчиво к нему относилось. Однажды такой тонкий и умный архиерей, как архиеп. Анастасий (Грибановский), высказывал мне свое неодобрительное отношение и недоверие к «литургическому» богословию. Оно его пугало своей новизной и нешкольностью.

Характерно то, что нужны были из светского мира пришедшие богословы, чтобы начать разработку литургического богословия и звать к нему: митр. Антоний (Храповицкий), еп.

Гавриил, о. Павел Флоренский, о. Сергий Булгаков. Да и основательно-то оно у нас еще и не начинало разрабатываться. Думаю, что и пионер в этом деле, Скабалланович, был в значительной мере подвигнут на это своим академическим коллегой, еп. Гавриилом.

Словом, «симпозионы» еп. Гавриила были богословскими пирами. Владыка любил толковать Св. Писание и толковал его всегда очень ярко и не сухо. Тот же лингвистический материал привлекался им всегда к делу истолкования. И что бы еп. Гавриил ни говорил и ни объяснял, он это делал вдохновенно и с увлечением. Сам увлекался и нас увлекал; и увлек.

Ему я в данном отношении очень обязан именно тем, что, может быть, сам того и не зная, он открыл мне мое отношение к предмету. В среде моих однокурсников как-то утвердилось мнение, что я лингвист, и что мне быть ученым именно в этой области. Может быть, мое ревностное отношение к храму, может быть, близость к еп. Гавриилу, может быть, и то, что свое курсовое сочинение я писал профессору о. Лазарю Мирковичу по лингвистике об «Историческом развитии греческого текста лингвии св. Иоанна Златоуста», а может быть, наконец, и то, что дебютировал в нашем студенческом журнале именное лингвистической статьей, ставшей потом заглавной статьей сборника «Крины молитвенные». Но, во всяком случае, из меня делали лингвиста. Я не противился, но в сердце что-то звучало иное. Я тяготел к отцам церкви, к религиозной философии. Привлекала меня Патристика, хотя именно на этом-то экзамене я с треском провалился. Около патрологии я все время ходил, отцов читал, в них вникал. К этому меня, конечно, особенно привлек третий из моих ученых архиереев на белградском горизонте, знаменитый архиеп. Феофан Полтавский, бывший ректор Санкт-Петербургской Академии. Но патрология и отцы мне не давались. То в семинарии заставляли меня преподавать греческий или Апологетику, или Священное Писание, то просто оторвали на три года от семинарии и послали в Миссию в Иерусалим. Только уже в Париже, и то не сразу, а после трех лет, мне далась Патристика, я был выбран профессором именно

на эту кафедру, а потом уже в 1945 г. и докторировал по патрологии.

Но как бы то ни было, встреча с еп. Гавриилом, наши литургические беседы и интерес к богослужению не пропали для меня даром. Я на все, следуя методам и пути еп. Гавриила, – и на Писание, и на Отцов, и на Аскетику, и на все вообще, не разделенное схоластически на рубрики богословие, научился и привык смотреть с точки зрения богослужебной, рассматривал все это литургически. Литургическое богословие стало для меня каким-то направлением моей мысли. Скажу так: еп. Гавриил, собственная жизнь и мысленный мой путь определили для меня литургику скорей не как предмет, а как метод. Я стал подходить ко всему литургически, а еще уже – евхаристически. И думается мне, что для нас, православных, надо определить свое отношение к литургии именно так.

В самом деле, ограничивать литургику одним уставом, т.е. ритуалистикой, – это дело псаломщика и уставщика. Смысл богослужения не в одном только правильном и точном исполнении устава, хотя само по себе такое исполнение и важно и нужно. Но им нельзя замыкать все сокровище литургической ризницы. С другой стороны, археологические и исторические исследования в этой области нам не всегда под силу. К сожалению, у нас нет бенедиктинской атмосферы Солемма, Гротаферраты, Амэй, Маредсу и др. ученых и специально литургических центров. Работать над сравнением нотных рукописей или древних харатейных служебников, над раскопками и расчищением икон не под силу всем; во всяком случае, это дело нешироких масс духовенства и верующих. И в этой области нам не хватает многих культурных средств, которыми богаты западные собратья. Да это и не есть еще самое важное в изучении литургических сокровищ. Это только внешнее, в каком-то смысле формальная сторона дела. И это сможет сделать и не богослов и не православный. Но вот понять, почувствовать, пережить и воплотить внутреннюю красоту и духовную ценность наших песнопений и таинств сможет только тот, кто крещен в водах Византии, кто обожжен солнцем Синая и Фиваиды, кто с молоком матери всосал в себя

суть православного вероучения. Богословствовать литургически сможет по-православному только тот, кто сам глубоко православно и глубоко литургически настроен и воспитан.

Еще раз вечная благодарность еп. Гавриилу за эту помощь и это откровение.

Это наше общение с владыкой Гавриилом имело еще одну очень светлую сторону: он был прекрасный имитатор и остроумный человек. Чувство юмора и легкой безобидной иронии было ему присуще. Оно окрашивало общение с владыкой в какие-то легкие и радостные тона. Владыка метко подмечал характерные стороны данного человека, его привычки, смешные стороны, неудачные словечки. Он легко давал прозвища, всегда верно характеризующие человека. Эти прозвища, конечно, имели значение только для нас; другим, не видавшим то или иное лицо, или не знающим обстоятельств, послуживших причиной для данного прозвища, они ничего и не дают. Я вспоминал выше очень меткое «Лампад Ливериевич», данное милому моему однокурснику, Леониду Ивановичу Масличу. Прозвища, как и вообще порождения юмора, нельзя объяснять. Они заранее должны быть признаны неудачными, коль скоро нуждаются в пояснениях. Почему «Лампад Ливериевич», объяснять невозможно, да и не нужно. Но я не мог бы себе представить более удачного определения какой-то сути человека, если угодно, его «ноумена», чем это «Лампад Ливериевич». О. С. Булгаков, убежденный имяславец и поэтому реалист в этом вопросе, а не номиналист, всегда говорил, что Сергей есть носитель «сергейности», как змея носитель своей «змейности», и т.д. Так же вот и Маслич был носителем какой-то метафизической природы, которую удачнее всего определить как «Лампад Ливериевич». Ведь это еп. Гавриилу принадлежит определение архиеп. Анастасия как «Мудрейшего».

Но и не только прозвища. Преосвященный Гавриил был непревзойденным имитатором. Такой способности подражания и передразнивания я мало у кого из хороших артистов наблюдал. Если, бывало, закрыть глаза, то, слушая его имитацию того или иного священника, архиерея или просто знакомого, можно было до упаду смеяться верности переданной

интонации, точности внутреннего облика в выражении лица или в звуке голоса и совершенной фотографической достоверности. Сам еп. Гавриил рассказывал, как он кому-то в Москве много раз представлял еп. Мисаила Могилевского. И вот однажды это лицо вошло в боковой алтарный вход той церкви, где служил приехавший еп. Мисаил, которого он никогда в жизни не видел и не знал даже, что еп. Мисаил в этой церкви будет в тот день служить. Войдя, он немедленно по звуку голоса узнал Мисаила, которого, повторяю, он и в глаза не видел.

Владыка Гавриил совершенно неподражаемо имитировал архиеп. Анастасия. Надо сказать, что более стильного и фотогеничного человека, чем архиеп. Анастасий, трудно себе и представить. Его облик, его голос, с замирающими концами фраз, его интонации в служении нельзя забыть никому, кто это видел и слышал. И как же мастерски еп. Гавриил воспроизводил какую-то воображаемую фразу Анастасия, якобы им произносимую, или такое вот чтение им Евангелия: «В Иерусалимех есть место, идеже кланятися подобает...» Этого на бумаге не передашь. Кто не видел Анастасия, тот никогда и не поймет. Но кто хоть бы раз присутствовал при служении «Мудрейшего», тот не забудет.

Так же артистически владыка имитировал митр. Серафима (Чичагова), имитировал некоторых сербских архиереев и священников, не щадил, конечно, и нашу братию. И Лампада Ливериевича и других чтецов и певцов «Великия Церкве» он художественно передразнивал. Митр. Антония передразнить он никак не брался, ибо уверял, что тот не поддается. Действительно, думается, митрополита нельзя было представить, т. к. он был в этом отношении не «фотогеничен», как теперь выражаются. Зато еп. Вениамина (Федченкова), великого смутияна и путаника эмигрантской церковной жизни, он представлял совершенно изумительно. Звал он его «Петухий», – и в этом есть тоже какая-то верная передача метафизической природы Вениамина. Умел метко представить и митр. Евлогия, которого, конечно, недолюбливал за все его «успехи» в эмигрантской буре церковной. Многое теперь забыто в его

фактической конкретности, но общее впечатление неистребимо в глубине сердечной памяти.

Я и сам в известной мере обладаю этой способностью подражать и представить. С легкой руки еп. Гавриила и в его окружении я, конечно, в своей компании позволял себе моим сверстникам представить и еп. Гавриила, его проповеди, его историю с «перестань ты кашлять», о которой была речь выше, его манеру кланяться, говорить по-сербски и т.д. Владыка это узнал от кого-то и при первой же встрече потребовал, чтобы я его представил. Я решительно и наотрез отказался. Владыка буквально меня умолял, но я остался непреклонен и ни за что не позволял себе перейти эту границу иерархической отдаленности и балаганить пред архиереем и, главное, на его же собственный счет. Владыка был очень недоволен, но по существу, думаю, оценил мою корректность. Нельзя, я считаю, пользуясь благорасположением и склонностью высокопоставленных лиц, а особливо священных особ, от которых мы ждем иного слова и иного тона, ставить себя на равную с ними ногу, переходить границу какой-то официальной корректности, а тем более имитировать их и над ними смеяться. Можно быть на «ты» с архиереем и Высочайшими Особами, но амиконстровать с ними ни в коем случае непозволительно. В этом несоразмерении своих близких отношений с выше нас стоящими начинается та внутренняя распущенность, больше того, внутреннее разложение, предваряющая революционный процесс, все позволяющий, все разъедающий, все сметающий. Какая-то подлинная и глубокая культура должна служить гарантией сохранения внутренней дисциплины. Есть неуловимая грань, после которой дружеская откровенность и простота становятся невыносимой вульгарностью. Обладая таким внутренним верным слухом, можно навсегда сохранить очень интимные, дружеские и простые отношения, которые не будут никого, а прежде всего и нас самих, коробить. В этом залог подлинной простоты и признак истинно хороших манер.

Но, возвращаясь к нашей близости с владыкой, с радостью и благодарностью вспоминаю эти встречи, светлые, духовно богатые, житейски простые и веселые, незабвенные.

После моего отъезда в Битоль моя переписка с еп. Гавриилом поддерживала наши отношения. На маленьких листочках бумаги, мелким почерком нанизывал он слова: немного их бывало, но всегда они для меня звучали яркостью наших вечерних бесед, теплом его отеческого отношения ко мне и опять-таки легким дыханием юмора и остроумия. И умел он всегда какое-нибудь выражение из церковных песен или из Писания сказать ко времени и к месту. Знал он, что я любил эти и им любимые паламические, светоносные выражения и писал он их мне. «Лучезарный Твои молнии возсияй ми, Боже триипостасный Содетелю...»

Когда в начале 1927 г. и до владыки дошел слух о моем предстоящем пострижении, он мне написал очень сердечное и полное любви письмо. Оно, может быть, и не сохранилось среди моих бумаг, где-то в скитаниях теперь разбросанных, но помню я то тепло, которое в себе этот маленький листик принес мне в мой занесенный снегом Битоль, когда я, хотя и решился на этот шаг, но все же по слабости искал повсюду поддержки и руководства.

«Дорогой Костя, – кажется, так начиналось это письмо, – услыхал слух твой и возрадовался... Еще одним хорошим воином Христовым будет больше на земле...» – и просил потом молитве и о нем.

На Светлой неделе увидел он меня, уже «оболченна и смысляща», в новой для меня и для окружающих одежде чернеческой. Сердечно приветствовал, что-то хорошее сказал, благожелал.

Но, как ни странно, со времени моего священства моя близость к нему не только не увеличилась, но даже, может быть, и ослабла. Казалось бы, тут вот и сослужить, и общаться теснее евхаристически и пастырски, но, вероятно, по свойству моего нрава, скрытного в сокровенном и главном и только во внешнем и второстепенном доступного для общения, я не подходил ближе к епископу Гавриилу. Может быть, многое объясняется и тем, что все же не так и близко я жил от Белграда, бывал только во время летнего ваканта, встречался с ним уже не с тем студенческим порывом новизны и искания. Несколько раз мы

все же служили вместе, но, помню, одна из таких служб омрачилась каким-то резким его выступлением во время самой литургии, что меня резануло по сердцу и оттолкнуло надолго. Кажется и он почувствовал это. Кажется, что и затаил это в себе. Что делать? Меняются люди, меняются и отношения.

Но помню все же еще одну сверкнувшую уладу от еп. Гавриила. Это был праздник осеннего Иоанна Богослова 1928 г., когда я в ожидании визы в Палестину сидел без дела в Белграде. На этот день служили торжественную и традиционную на греческом языке литургию. Бдение совершили накануне по-славянски, но очень уставно, с канонархами, с седальнями, певшимися сидя, с бесконечными повторениями и прочее. Владыка стоял в алтаре и не захотел служить, а заставил меня, молодого архимандрита, чинодействовать.

Читали пролог, синаксари, поучения. Словом, захотели и мы если не историческую идеальную всенощную Киевской Академии отслужить, то, во всяком случае, приблизиться к возможной полноте. У меня не осталось неприятного воспоминания от этой всенощной, как от какого-то уставщического эксперимента, «тупиконства», буквоедного формализма.

На другой день служили по-гречески. Правда, большинство священников читали молитвы про себя по-славянски, и только возглашали по-гречески. Но я, помню, служил и читал все по греческому служебнику. Да и потом всегда, когда приходилось служить по-гречески, читал все про себя по-гречески. Теперь-то я почти каждую литургию служу по-гречески, т.е. служебник у меня греческий, и молитвы я больше люблю читать про себя по-гречески, а только возгласы делаю по-славянски, воспоминая выражение одного филэллина, что молиться-то, конечно, надо по-гречески, т. к. это и Богу понятнее... Владыко служил с большим подъемом, выговор у него был греческий хороший, хотя, конечно, не тот, к которому я привык на Востоке, с характерным выговариванием «дельты» и «фиты» и прочее.

Но самое замечательное, что было в тот день, это проповедь, которую владыка... прочел по какой-то тетрадке. Это, оказывается, была проповедь, им сказанная когда-то еще в

России и просто изумительная по красоте и поэтичности, с одной стороны, и богословской глубине – с другой. Я умолял ее мне дать переписать. Владыка страшно разгневался на меня и ни за что мне ее дать не хотел.

Преосвященный Гавриил очень не хотел моего отъезда в Палестину. Он предрекал мне всякие неприятности. «Ты едешь на Голгофу». Особливо он боялся для меня трудных служебных отношений с архиеп. Анастасием. И он был прав. Друг для друга мы не подходили. Архиепископ был слишком авторитетен и, пользуясь своим огромным, по сравнению с моим, опытом, он меня давил. Я не имел силы ему отказывать. Свои вынужденные уступки я переживал болезненно, как подлость по отношению к своим убеждениям, как малодушие, как неискренность. Нервозность, бессонницы, неудовлетворенность создали то, что я очень скоро запросился в отставку. Борьба около этого вопроса шла месяцами. После моей долгой и упорной тактики подавать прошение за прошением, наконец-то в ноябре 1930 г. отставку я из Сербии получил. Архиепископу Анастасию я, конечно, причинил неизлечимую скорбь. Свое молодое самолюбие я удовлетворил, делу не помог, митр. Антония поставил в затруднительное положение, сербам дал повод для лишней критики русских дел, церковным обывателям – пищу для сплетен. В декабре 1930 г. я вернулся в Белград с чувством посрамленного, провалившегося на экзамене мальчика гимназиста. В русской церковной жизни я больше принимать участие не захотел. Хотелось «домой», к фекам, на свою духовную родину, которую я на Востоке обрел. Конечно, если бы не несчастный «раскол» двух митрополитов, я ушел бы в Париж, не столько к митр. Евлоги, сколь в юрисдикцию Вселенского патриарха. Но это было невозможно. Я ушел снова к сербам. Начались мои томления со службой, с подданством. Я надолго (на полтора месяца) застрял в Белфаде, пока не получил назначение в тот же мой милый, Леонтьевский Битоль, в «почти Грецию».

Тут-то на службах святочных в белградской церкви я и встретился с еп. Гавриилом. Какая перемена ожидала меня!

Если бы мне сказали, что владыка Гавриил когда-нибудь похудеет, я бы счел это неудачной шуткой.

Но вот в алтаре белградской нашей церкви я перед собою увидел кого-то, увидел и не поверил. Вместо непомерного по толщине, привычного мне еп. Гавриила я вдруг встретил какого-то худого и совершенно больного на вид архиерея. Ряса висела на нем. Сам он был сгорбленный, какой-то скрюченный, с головою набок, с трясущимися руками. Голос, когда-то звонкий и высокий, стал теперь дребезжащим и слабым, как жужжение комара.

«Дитя дорогое... ну что, вернулся с Голгофы? Ничего не вышло? Я так и знал... так и знал...»

Помолчал немного и снова добавил: «Я так и знал».

Потом как-то через несколько дней он мне тепло и ласково сказал: «Молись за меня, дорогой отче... Молись. Мне нелегко. Иду к финишу... А ты теперь в скорбях, поэтому и твоя молитва к Богу доходнее... Молись».

Что такое с ним было, не знаю. Врачи руками разводили, говорили какие-то мудреные слова, вроде «энцефалитис летаргикус». А сам владыка пытался острить: «Литургикус». Ясно было, что дело идет к развязке.

Это было в январе 1931 года. В феврале я был вновь назначен преподавателем семинарии в тот же Битоль, из которого меня умыкнули в Иерусалим. Я всецело отдался своему любимому делу и провел на этом посту до 1936 г. В Белград я приезжал только на летние месяцы и, живя в Земуне, реже бывал и в белградской церкви. Служил все больше в сербских церквях. От русских распрай и недобрых «карловацких» деятелей о парижских моих друзьях я себя ограждал тем, что не служил совсем в русской церкви, как это и ни было мне тяжело. В этой церкви я столько видел хорошего, почти что своими руками ее создавал, в ней принял рукоположение во пресвитера, из нее уехал в Св. Землю. Но участвовать в той неприятной атмосфере недоброжелательства мне все же не хотелось. Естественно поэтому, что и владыку Гавриила я видел в эти годы все меньше и реже. Он к тому же настолько был плох, что и приезжал редко в Белград. Жил он

теперь уже не в монастыре, а в Панчевском русском госпитале. Это, правда, всего час езды от Белграда, но силы его были уже очень надломлены. Он там первое время мог и ходить, иногда даже служить в госпитальной церкви, довольно часто проповедовать, что он не переставал любить делать. Но потом уже он только лежал или сидел в своей палате.

Настроение его поэтому, естественно, было очень невеселое. Живой, общительный, увлекающийся, он теперь был осужден на медленное угасание на больничной койке. На его примере можно было учиться тому, как Бог смиряет человека перед его концом. По-видимому, не войти в царство небесное, не смирившись, не испытав своего кенозиса. Гордость, высокомерие, знатность, богатство, почет и прочее очень часто отнимаются Богом от человека перед его концом. И делает это Бог, конечно, человеколюбиво, милуя, и промыслительно, желая нашего более полного подчинения Его воле и покорности Его любви.

Блестящий, поэтический, эстетически чуткий владыка Гавриил был, прежде всего, всю свою жизнь обречен на далеко не эстетическую внешность. Его непомерная и болезненная толщина не могла его не удручать. Но и это еще не было так страшно. Это не мешало ему служить, проповедовать, общаться с людьми. Но, когда-то до болезненности требовательный к внешности, не желавший служить с теми или иными, недостаточно для него эстетически совершенными священнослужителями, – нерасторопными, немузыкальными и под. – он был сам потом доведен до невозможности вообще служить. Эстетическая его требовательность не могла не быть оскорбляема всей далеко не эстетической обстановкой большого беженского госпиталя. Больничная койка вместо благообразия какого-нибудь монастыря или архиерейского дома, в котором он бы, вероятно, заканчивал свою жизнь в нормальных условиях. Сиделки и санитары вместо монашествующей братии. Скука больничного обихода и унизительные подробности при угасании тленного тела вместо пышной и богатой духовным содержанием разнообразности праздничного и богослужебного круга церкви. Привыкший даже в

беженских условиях жизни к общению с теми друзьями, которых он приобрел себе своим служением, проповедями и беседами, владыка теперь уже в Панчеве оказался ограниченным узким и, вероятно, уже ему приевшимся кругом больничных же наследников, таких, какой сам инвалидов и расслабленных. Мало кто мог его навещать из Белграда, т. к. жизнь требовала своего и утомляла всех нас. Угрызаюсь, что я так и не побывал у него, отчасти веря в возможность улучшения его здоровья и возвращения в Белград, а отчасти, конечно, по нерадению и лени. По какой-то непонятной игре случая или загадочности пересечения наших жизненных орбит еп. Гавриил оказался в больнице в одно и то же время, что и бывший член Государственной Думы и бывший Московский Городской Голова С.В. Челноков. Общего между ними, конечно, в жизни не было ничего. Челноков, вероятно, был дальше от церкви, чем от чего-либо другого. По политическим своим вкусам они также совершенно не подходили один к другому. А вот жизни свои изживали почти вместе в одном и том же госпитале. И кажется, что они были довольны друг другом. По культурному уровню своему, конечно, Челноков мог подходить к еп. Гавриилу больше, чем к какому-нибудь офицеру или простому казаку.

Я видел еп. Гавриила еще несколько раз после моего возвращения с Востока. Он все больше и больше худел, кривился, и голова его совершенно потом склонилась набок, что особенно придавало ему немощный и жалкий вид. Какая-то детская беспомощность в этом чувствовалась.

Ранней весной, великим постом 1934 г., владыка отходил в горные обители. Вероятно, в нормальной обстановке, в каком-нибудь русском монастыре, он умирал бы под великопостные напевы во всем благообразии монастырской красоты. Ему, в сущности, и надо было умирать именно Великим Постом. Он так любил, ценил и умел переживать эти службы Триоди. При всей его сверкающей и яркой пламенности, ему, как всякому поэту и лирику, был особенно близок оттенок грусти, меланхолии, угасающих красок весеннего заката. И это ему было дано до конца. Он умер не в торжественности, а в смирении. Истощение, кенозис, о котором он так умел вещать в своих

проповедях на Страстной неделе, были и его предсмертным уделом. Верю, что он и прошел через врата смерти искупленным, умиренным, смиренным...

На день св. Евдокии, 1-го марта, в день убийства имп. Александра II, рано поутру отошел владыка, мирно, без мучений. Я думаю, что он был спокоен в этот час. Владычица Богоматерь отогнала от него мрачные лики бесов и за великую его любовь к Ней, к Ее Сыну, к Его Церкви, к церковной Красоте она дала ему без ужаса перейти к вечному созерцанию этой красоты.

Странная подробность. Митр. Антоний, который никакой мистики, видений, снов и под. не признавал, сам проснулся в час кончины еп. Гавриила у себя в Карловцах и кликнул Федю, пораженный необыкновенным благоуханием какого-то чудного ладана. Этим же поразился и весельчак Федя. Они не понимали, откуда этот запах, когда никакой кадильницы и не было вблизи.

К полудню они узнали, что в этот час скончался еп. Гавриил.



Вид города Битоля



Вид города Битоля



Вид города Битоля



Митрополит Антоний (Храповицкий) в сане епископа



Митрополит Антоний (Храповицкий) в сане архиепископа



Митрополит Антоний (Храповицкий)

Примечания

¹ - В группу «Живая Церковь», организованную В.Д. Красницким внутри обновленчества и с крайней враждебностью относившуюся к ученому монашеству, митрополит Сергий (Страгородский) никогда не входил. 16 (3) июня 1922 г., будучи митрополитом Владимирским, он сделал заявление о признании каноничности обновленческого ВЦУ. В сентябре 1922 г. он выступил с протестом против принятых группой «Живая Церковь» постановлений и предупредил о прекращении церковного общения с её членами. В декабре 1922 г. обновленцы направили во Владимир нового архиерея, Серафима Руженцова, что свидетельствует об окончательном разрыве с ними владыки Сергия. 28 августа 1923 г. владыка Сергий воссоединился с Русской Православной Церковью. В этот день в Донском монастыре в одежде простого монаха он принес покаяние перед св. патриархом Тихоном.

² - Какая восхитительная голова (фр.).

³ - Священномученик Иларион (Владимир Алексеевич Троицкий 13.9.1886– 28.12.1929), архиепископ; 5.7.1913 – возведен в сан архимандрита, 35.5.1920 -хиротонисан во епископа Верейского. Скончался от тифа в больнице Ленинградской тюрьмы «Кресты».

⁴ - Следует понимать «самый дух».

⁵ - Муретов Митрофан Дмитриевич (1850–1917) – профессор МДА.

⁶ - Лебедев Алексей Петрович (1845–1908) – профессор МДА по кафедре церковной истории.

⁷ - Голубинский Евгений Евстигнеевич (1834–1912) – заслуженный ординарный профессор МДА, академик.

⁸ - Ключевский Василий Осипович (1841 – 1911) – ординарный академик Императорской Академии наук, доктор русской истории, заслуженный ординарный профессор Императорского Московского университета и Московской Духовной Академии.

⁹ - Свт. Филарет (Дроздов; 1782–1867), митрополит Московский; свт. Филарет (Амфитеатров; 1779–1857), митрополит Киевский и Галицкий.

¹⁰ - Делицын Петр Спиридович (ф 1863) – протоиерей, профессор математики Московской Духовной Академии, переводчик святоотеческих творений.

¹¹ - Казанский Петр Симонович (1819–1878) – профессор истории МДА.

¹² - Имеются в виду меры по реформированию духовных академий, проведенные Святым Синодом в 1908–1912 гг. Сначала была проведена ревизия духовных академий: епископ Херсонский Димитрий (Ковалыцкий) ревизовал Московскую и Петербургскую академии, архиепископ Псковский Арсений (Стадницкий) – Казанскую, архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) – Киевскую. По итогам ревизии был переработан устав академий и пересмотрены штаты. Новый устав придавал большое значение религиозному воспитанию и дисциплине: студенты и преподаватели были обязаны регулярно посещать все богослужения, соблюдать церковные посты. Усиливалось влияние епархиальных архиереев при замещении академических кафедр; ставилась задача сократить число светских преподавателей. Эти усилия Святейшего Синода по реформированию академий привели к увольнению ряда профессоров. Либералы называли это «разгромом духовных академий».

¹³ - «Союз русского народа» – политическая организация монархистов, образованная в октябре 1905 г. для борьбы с революцией, восстановления и защиты царского самодержавия.

¹⁴ - «Русское собрание» – культурно-просветительное общество монархистов, открытое в С.-Петербурге 26 января 1901 г.

¹⁵ - «Вехи» – сборник статей, опубликованный в 1909 году. Авторы сборника (П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.К. Булгаков, М.О. Гершензон, Б.А. Кистяковский, Изгоев (А.С. Ланде), С.Л. Франк) объединились в критике материалистического, или позитивистически обоснованного, политического рационализма,

утверждали необходимость религиозно-метафизических основ мировоззрения. Письмо архиепископа Антония Н.А. Бердяеву см. во II томе собрания сочинений владыки (СПб., 1911).

¹⁶ - Митрополит Сергий (Ляпидевский) занимал Московскую кафедру с 1893 по 1898 г.

¹⁷ - Архиепископ Савва (Тихомиров). Автобиографические заметки. Т. II. С. 496.

¹⁸ - Митрополит Западноевропейский Евлогий (Георгиевский) (1868–1946). Во время Собора оказавшихся в эмиграции русских православных епископов, представителей духовенства и мирян, проходившего в 1921 г. в Сремских Карловнах, архиепископ Евлогий совместно с 33 членами Собора сделал письменное заявление о том, что обстановка вопроса о монархии с упоминанием династии носит политический характер и как таковая обсуждению церковного собрания не подлежит. Митрополит Антоний, напротив, утверждал, что «вопрос династии не политический, а чисто церковный». Мнения епископов на Соборе разделились поровну, но большинство мирян поддержало митрополита Антония. После указа патриарха Тихона о роспуске созданного Карловацким Собором Высшего Церковного Управления митрополит Евлогий, назначенный экзархом, договорился с остальными епископами об образовании Синода, где председательствовал, как старейший иерарх, митрополит Антоний. В дальнейшем обострились разногласия между митрополитом Евлогием, который не считал себя канонически подчиненным Синоду, признавал его фактически лишь как совещательный орган, и митрополитом Антонием, под председательством которого на Соборе 1924 г. в Карловнах было вынесено решение об упразднении автономии Западноевропейской митрополии. Исполнение этого постановления было отложено до утверждения его патриархом, но в июне 1926 г. на очередном Соборе в Карловцах оно было проведено в жизнь. В 1927 г. митрополит Евлогий и его викарии были запрещены в священнослужении Собором зарубежных епископов в Карловцах. Владыка Евлогий, духовенство и

приходы Западноевропейских епархий не признали этих решений.

¹⁹ - Митрополит Варшавский Дионисий (Валединский) (1876–1960). Под давлением польских властей после убийства митрополита Георгия (Ярошевского) стал митрополитом Варшавским (1923–1948). Проявлял угодничество и уступчивость по отношению к польскому правительству, проводившему политику культурного геноцида и подготовлявшему насильтвенное окатоличивание православных. В 1925 г. в нарушение канонических норм, без согласия Русской Православной Церкви, получил от Константинопольского Патриарха благословение на учреждение автокефальной Церкви в Польше. В августе 1948 г. направил покаянное письмо Московскому Патриарху Алексию I и через несколько месяцев ушел на покой. Вскоре после этого Польской Православной Церкви Московским патриархатом была дарована законная автокефалия.

²⁰ - В 1925 г. в Стокгольме состоялась первая всецерковная конференция экуменического движения «Жизнь и труд». В июле 1937 г. состоялась вторая всецерковная конференция этого движения, одобравшая создание Всемирного Совета Церквей для объединения всех экуменических движений. В августе 1937 г. в Эдинбурге прошла конференция экуменического движения «Вера и церковь», также выразившая согласие с созданием Всемирного Совета Церквей.

²¹ - Имеются в виду претензии Константинопольских патриархов на управление всеми православными приходами за пределами канонических территорий Поместных Православных Церквей.

²² - До 1930 г. митрополит Евлогий находился в юрисдикции Заместителя Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского). В 1931 г. большая часть приходов Западноевропейской митрополии во главе с митрополитом Евлогием была принята в юрисдикцию Константинопольского патриархата, даровавшего митрополиту Евлогию сан экзарха.

²³ - Старого стиля.

²⁴ - В 1934 г. состоялось примирение приехавшего в Белград митрополита Евлогия с болными митрополитом Антонием. При посредничестве Сербского патриарха Варнавы начались переговоры между представителями Карловацкого Синода и Западноевропейского Экзархата. В ноябре 1935 г. на Соборе в Сремских Карловцах было выработано «Временное положение», подписанное митрополитом Евлогием с оговоркой, что это положение должно быть одобрено епархиальным собранием в Париже и утверждено Вселенским патриархом. Евхаристическое общение было восстановлено, однако созванное митрополитом Евлогием епархиальное собрание отказалось утвердить «Временное положение». Когда митрополит Евлогий скончался (08.08.1946), евхаристическое общение между «евлогианами» и «карловчанами» сохранилось. Сам владыка Антоний после примирения с митрополитом Евлогием по болезни фактически не принимал участия в обсуждении проблем, разделявших эмигрантские церковные общины.

²⁵ - См.: По вопросам духовной школы. СПб.?, 1907. С. 113–114.

²⁶ - Т. 2. С. 379.